

иеромонах Тихон

АРХИЕРЕЙ

Предисловие

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Перед Вашим взором лежит очень небольшая по объему и замечательная по содержанию книга. В свое время она поддержала многих людей и помогла им обрести смысл жизни и потерянную веру.

Книга написана на рубеже XIX и XX веков. К удивлению читателя почти ничего не изменилось в духовно-нравственном плане в сегодняшней России. Такая же вековая тоска по счастью, повальное пьянство и всеобщая парализованная воля — давно знакомые картины российской действительности.

Невзирая на схожесть духовно-нравственных проблем той и другой эпохи, читатель открывает для себя вместе с героями книги давно забытый путь.

Многие читающие это произведение нередко пытаются найти исторический прототип главного героя книги — православного архиерея, но этот образ остается таинственной загадкой.

Неординарные решения, сокровенная жизнь персонажей, талантливо изображенные автором книги, решают сложную проблему преодоления социального зла, тем самым побуждая читателя задуматься над современным положением православия в России.

Настоятель Свято-Троицкой Сергиевой пустыни

игумен Николай (Парамонов).

Глава первая

Отец Павел сидел на палубе парохода и пил... Стоявшая перед ним на столике бутылка водки была уже выпита почти до дна. Пил отец Павел без закуски, глотая рюмку за рюмкой, через более или менее значительные промежутки времени. Он пил с ожесточением и как бы подчеркивал свое времяпрепровождение: «Нате, мол, православные, любуйтесь на своего пастыря...» К православным отец Павел относил всех паромных пассажиров, из которых многие начали уже опасливо поглядывать на батюшку и предусмотрительно отыскивали глазами капитана парохода. Некоторые маменьки брали на руки своих детишек, резвившихся на палубе, и под деликатным предлогом отводили их подальше от столика, за которым сидел батюшка. Отец Павел замечал отношение к себе публики, но не думал смириться, наоборот, всячески старался показать свое полнейшее к ней равнодушие. Особенно хотелось отцу Павлу выразить свое презрение одной духовной особе, спокойно гулявшей в числе прочих пассажиров по палубе и, видимо, любовавшейся картинами волжских берегов. Величавая осанка, уверенная поступь, красивые движения этой особы прямо-таки претили отцу Павлу. Лица того батюшки отец Павел не успел рассмотреть. Батюшка держался вдали и только раза два мельком в полуоборот взглянул на отца Павла. «И чем только гордится человек, — подумал отец Павел, — ведь такой же священник, как и я, только что в городе, может быть, служит да казенного жалованья тысячи две получает. При такой жизни и мы

сумею пофорсить... Поставить бы тебя на мое место, посмотрел бы тогда я на тебя, а поди-ка: как будто архиерей какой». Отцу Павлу еще горше стало от этих дум. Досада на «величавого батюшку» разгоралась. Он схватил рюмку, залпом влил ее себе прямо в горло и по-мужицки сплюнул на пол так энергично, что и без того едва державшаяся на голове шляпа упала к ногам. Отец Павел и не подумал поднять ее, он грузно облокотился на столик локтями и осоловелыми глазами уставился на публику. В это время «батюшка» повернулся и тихую поступью направился в сторону отца Павла. Отцу Павлу почему-то показалось, что батюшка идет прямо к нему. Не поворачивая головы, он стал прислушиваться к приближающимся шагам батюшки, к тихому шелесту его шелковой рясы. Вот он уже совсем близко от него. Отцу Павлу захотелось сделать какую-нибудь неприятность этому батюшке, сказать какую-нибудь колкость, поставить его в неловкое положение.

— Отец! А, отец! — обратился он к поравнявшемуся с ним батюшке и насмешливо уставился на него. — Не хочешь ли водочки?

Батюшка остановился, посмотрел на полупьяного отца Павла и улыбнулся.

— Спасибо, родимый, я не пью. — Взглянув затем на пол, батюшка наклонился, поднял валявшуюся шляпу отца Павла, бережно расправил ее и, положив на столик, сам сел рядом с отцом Павлом.

Отец Павел такого не ожидал. Он подумал, что чистенький батюшка ответит на его выходку презрительным взглядом и поскорей постарается пройти мимо него, а он — отец Павел — расхохочется ему вслед. Поступок батюшки обезоружил его. Отцу Павлу стало неловко. Мысль, что он оскорбил доброго человека, смутила его. Желая как-нибудь отделаться от чувства неловкости и сгладить резкость своей выходки, отец Павел счел за лучшее продолжать разговор, перейдя от насмешливого к развязному тону полупьяного человека:

— Ты откуда же будешь? — спросил он подсевшего к нему батюшку и исподлобья взглянул на него.

«Батюшка» поправил полу рясы, сел поудобнее и, повернувшись лицом к отцу Павлу, начал спокойным ровным голосом:

— Я — издалека... Еду вот и люблюсь матушкой Волгой. Какая у вас здесь благодать, какой простор. А жизни-то, жизни сколько, так и бьет ключом! Сколько народу, сколько товаров всяких, какое движение: одних пассажирских пароходов не пересчитаешь сколько. Да, когда вот своими глазами увидишь все, тогда только поймешь, почему наш народ прозвал Волгу поилицей и кормилицей, почему он так любит ее, поет о ней в своих песнях и грустит по ней, закинутый в чужую сторону. Действительно, великая река.

— Да, уж известно, — поддакнул отец Павел. Родившись и выросши на берегах Волги, отец Павел любил свою родную реку и, как истинный волжанин, гордился ею. Похвала Волге чужестранца-батюшки понравилась ему. От прежней беспричинной досады на этого батюшку у него не осталось и следа, и он уже с большей охотой стал прислушиваться к его словам.

— Много богатства всякого здесь у вас, — продолжал между тем батюшка, — но много горя... много слез и нужды безысходной. Но это еще не велика нужда. Мне пришлось наблюдать жизнь одного народа на окраине нашего отечества. Живет он куда беднее

многих наших крестьян. Ходит почти в лохмотьях, дома ест только ячменный или кукурузный хлеб, да и то не досыта, а как помотришь на него — молодец к молодцу: все как на подбор. Стройная походка и такой гордый вид, словно не лохмотья он носит на себе, а, по крайней мере, генеральский мундир. Подумаешь, что нет у него ни горя, ни забот, и никакая нужда ему неведома. Так вот, не в бедности беда и не в горе. Беда в том, что не умеет наш русский народ бороться с горем, с бедой. Нагрянет на него беда, он или заставится от нее терпением и тут иной раз обнаружит действительно железное терпение, или взбунтуется, тоже уж без всяких границ, а чаще всего старается только отделаться как-нибудь от горя, затушить его, заглушить, залить. Точь-в-точь вот как вы. Вас горе постигло, а вы, вместо того, чтобы бороться с ним, раздосадовались и запили... и к одному горю хотите приложить еще и другое.

Отец Павел удивленно посмотрел на батюшку. «Откуда же он знает, что я пью с горя», — мелькнуло у него в голове.

— А между тем, — батюшка положил свою руку на плечо отца Павла и шутливо постучал по нему, — посмотрите-ка, какая у вас мощь... экие широкие, богатырские плечи... да с такими силами не только свое горе, а еще и чужого сколько можно унести...

Чем-то бодрым пахнуло на отца Павла. С удовольствием вспомнил он, как крестьяне его села, его прихожане, говаривали про него, что супротив нашего батюшки во всем селе работника не найти.

— Вот еще черта русского характера, — как бы размышляя сам с собой, продолжал батюшка, — постигнет человека горе, и носится он с ним и уже ничего и знать не хочет, и не подумает о том, что у другого может быть еще большее горе. Любим мы своим горем застилать сердце, и не замечаем, что носясь со своим горем, мы другим горя подбавляем. Как вот вы, например.

— Кому же я-то горе доставляю? — с недоумением спросил отец Павел.

— Как, кому? Вот вы сидите и пьете, свое горе заливаете, а вот о том человеке, вероятно, и не подумали... Вон тот господин, что на том конце на скамеечке сидит. Сейчас мы проезжали село, там церковь показалась. Этот господин снял шапку и набожно перекрестился — есть, значит, у него еще в сердце вера в Бога. Ну, а теперь скажите, не больно ли ему видеть пастыря церкви вот за таким занятием?

Отец Павел смущенно покосился на стоящую перед ним бутылку водки, а «батюшка» позвонил и велел пришедшему на звонок официанту убрать бутылку и рюмку. Отец Павел не протестовал и только, как бы оправдываясь уже, заговорил:

— Да ведь обида-то у меня большая: с горя и пью, это вы верно, отец, сказали.

— А вы расскажите-ка лучше свое горе, поделитесь со мной по-братски, может быть, оно и не таким тяжелым покажется. Высказанное горе — полгоря.

Отец Павел и сам уже давно почувствовал желание поведать свое горе «ласковому батюшке». К этому располагало доброе лицо батюшки и особенно его глаза — умные, серьезные и как будто грустные, а между тем так и искрившиеся лаской и теплом. Такие люди спрашивают о чужом горе не из любопытства.

— Под суд я попал, — начал отец Павел, — повенчал без документов... Дело, видите ли, такое вышло — пришли ко мне парень с девушкой. Повенчай, мол, нас, батюшка, я сирота, и она сирота, на фабрике тут недалеко вместе работали... грех попутал, а хочется, чтобы по-законному, по-Божьему было, да вот беда — документов у нас нет. Она у тетки жила, сбежала, и паспорта нет, а у меня просроченный, отослал заменить, да по сей час той-то не высылают.

— Да как же вы так, — говорю, — без документов ведь никак нельзя повенчать.

— А что ж, батюшка, неужели лучше так жить, без закону?

— А это, — говорю, — уж ваше дело. Идите, откуда пришли.

Стоят, не идут; невеста в слезы, жених в ноги мне повалился... Что тут делать? Жалко стало их. Отворил церковь, позвал их.

— Ну вот что, — говорю, — что вы совершеннолетние, я и сам вижу, а вы поклянитесь мне вот пред Господом Богом и пред Пречистым Его образом, что нет между вами никакого родства.

Поклялись. Взял я, да и повенчал их. Живите, мол, Бог с вами... и за венчанье даже с них не взял, потому вижу, что действительно с них нечего взять. Ну, а чтобы до начальства не дошло, я ни в метрику, ни в обыск не вписывал, а просто дал им на руки удостоверение в том, что они действительно состоят в законном браке. Так бы все и вышло, да вишь ты: приятели тут у меня завелись. Разбранился как-то раз с соседним батюшкой, а он возьми да и донеси на меня в консисторию. Ну, известно... судили... следствие было... и присудили меня в монастырь, значит, на покаяние. Пошел было к архиерею, думал, смилостивится. Куда там, даже не принял. Через келейника своего передал: «Скажи, мол, этому негодяю, чтобы он и на глаза мне не смел показываться». Вот и взяла меня обида. — Коли так, — говорю, — скажи архиерею, что не только в монастырь я не пойду, а и в приход не вернусь... Пусть назначает на мое место кого угодно... Повернулся и ушел. Так и бросил место. Хотел было частные занятия какие-нибудь найти, да кому нужен заштатный священник. В работники хотел идти — не принимают: неудобно, говорят, на спину человеку в рясе куль с мукой наваливать... Вот и маюсь я. Надумал в чужой епархии места поискать, авось найдется где-нибудь с доброй душой архиерей... войдет в положение. Еду вот к здешнему архиерею; добрый, говорят, да видно уж моя такая неудача: по пути узнаю, что его и дома-то нет. Перевели... и на место его ждут нового. Что, как пришлют какого-нибудь владыку-недотыку, и опять майся... а дома семья... скоро и зубы на полку придется класть. Ну, как тут не запить?

— А знаете что, — сказал, оживляясь, батюшка, — я бы на вашем месте тоже так поступил. Не дело священника делать предбрачный обыск и свидетельствовать документы брачующихся. От исправности документов не прибавится благодати Божией, равным образом, как и неимение их не может послужить препятствием к получению благословения Божия. Брак был и в первые века христианства, когда и понятия не имели ни о метриках, ни о наших обычных брачных обыскных книгах. Другое дело, если бы вы повенчали несовершеннолетних. Это был бы грех великий, потому что вы священнодействие брака превратили бы в пустое призывание имени Божия. Благодати в таинстве не было бы. Это все равно, что молиться об исцелении от болезни уже умершего человека, то есть совершать таинство елеосвящения над трупом. Венчая несовершеннолетних, вы нарушаете закон природы, по которому в брак могут вступать только лица, достигшие известного возраста, физической зрелости. А ведь закон природы,

как и законы нравственные, тот же закон Божий. Бог установил и те, и другие. Понимаете, какая получается бессмыслица: с одной стороны, вы нарушаете закон Божий, с другой стороны, просите Бога, чтобы Он дал благодать исполнить этот нарушенный закон. Конечно, благодати Божией не получается, и вместо таинства совершается профанация его. И состоящих в родстве нельзя венчать, почему, это вы и сами знаете.

Итак, греха вы не сделали. Правда, за несоблюдение формальностей вас постигло наказание, но разве его нельзя было перенести, хотя бы ради той радости, которую вы доставили повенчанным. Поди, обрадовались... благодарили вас...

— Еще как! На днях еду на пароходе... пристань... Купить мне надо было кое-что из съестного. Сошел на пристани и протискиваюсь к торговкам. Слышу вдруг: «Здравствуйте, батюшка, не угодно ли яблочков, возьмите». — «Отчего, — говорю, — не взять, а почему отдашь?» — «Что вы, батюшка, — говорит, — с вас разве можно... вы так возьмите. Да нешто вы не узнаете меня?» Всматриваюсь: ба! Да это моя невеста беспаспортная-то. «Ну как, — говорю, — живете?» — «Слава Богу, — говорит, сама смеется, радостная такая, — сыночка, — говорит, — Бог дал». — «Ну что же, дай Бог счастья!» — «Спасибо, батюшка, а яблочков-то возьмите, уж не побрезгуйте». Тычет мне в руки все свои яблоки вместе с корзиной. Что делать? Взял. После всю дорогу почти всех пассажиров угощал ими...

— Ну, вот видите... а вы запивать стали. Бороться надо с горем, да Богу молитесь поусердней. Молитва бодрит человека, освежает его ум, а человек со свежими силами всегда себе выход найдет. У вас добрая душа, силы есть. Так не губите же себя и других. Ну, кажется, мы уже подъезжаем к городу. Скоро нам сходить... Я тоже в первый раз сюда еду. Недавно только получил назначение... Вот что — вы зайдите ко мне в городе, моя квартира будет рядом с кафедральным собором. Мы еще поговорим с вами. Может, что-нибудь и придумаем. А теперь пока прощайте. Надо собираться.

Батюшка встал, подал руку отцу Павлу и трижды облобызался с ним.

— Прощайте, — смущенно говорил отец Павел. — Спасибо вам за доброе слово и простите меня... Я не знал, что вы такой...

— Бог простит, — улыбнулся батюшка и скрылся в каюте.

Пароход причаливал к пристани. Отец Павел завязал в узелок свои вещи и стал у сходней. Через несколько минут показался и батюшка. Он шел в сопровождении другого священника, на груди которого красовался наперсный крест. Протискавшись через толпу, оба батюшки взяли извозчика и покатали в город. Поплелся вслед за ними и отец Павел.

Глава вторая

Прошла неделя. Отец Павел все никак не мог собраться с духом, чтобы пойти со своей просьбой к архиерею. Из газетных известий он вычитал, что новый архипастырь уже приехал и вступил в управление епархией. «Каков-то он из себя, — с тревогой думал отец Павел. — Что как не примет, или скажет: поезжай, мол, туда, откуда приехал».

Наконец, отца Павла осенила мысль предварительно расспросить кого-нибудь об архиерее. Он вспомнил, что в городе, где-то на окраине, служит священником его бывший товарищ по семинарии отец Герасим. Не разыскать ли его, да поговорить с ним. Вероятно, что-нибудь да знает про архиерея. И, заперши свою каморку на постоялом

дворе, где он остановился, отец Павел пошел отыскивать своего бывшего товарища. Разыскать того батюшку, который познакомился с ним на пароходе, отцу Павлу помешала его природная застенчивость. — «Правда, ласковый он, добрый такой и смиренный, — думал про батюшку отец Павел, — шляпу мою поднял... а я думал, что он гордец какой-нибудь; а все-таки городские они, как к нему пойдешь в гости-то, да еще в таком виде». Отец Павел грустно поглядел на свою поношенную, порыжевшую ряску. Лучше уж к отцу Герасиму. Этот все-таки когда-то был свой человек.

Искать долго отца Герасима не пришлось. Как только отец Павел вышел на окраину города, первый же встречный, услышав имя отца Герасима, тотчас же указал улицу и его квартиру и даже любезно проводил его. Отец Павел заметил, что встречный как-то особенно любовно произносил имя отца Герасима.

— Вы, не его ли прихожанин будете? — спросил он своего проводника, стараясь догадаться о причинах его уважительного отношения к отцу Герасиму.

— Нет... Я ничей... ночлежник... хулиган, как теперь еще нас зовут, а только отца Герасима здесь все знают. Пожалуйте, вон его квартира... До свидания.

«Ночлежник» повернулся, а отец Павел постучался в дверь указанной квартиры. Звонка он не нашел.

— Пожалуйте, кто там? — послышалось из-за двери. — Толкните дверь посильней, она не заперта.

Отец Павел толкнул дверь и сразу очутился в ком нате. Быстро окинул ее взглядом и остановился в недоумении. Голые стены. Возле одной — кровать, возле другой — шкаф, сверху донизу наполненный какими-то склянками. Несколько деревянных стульев, и возле окна простой письменный стол, заваленный книгами. За столом, сильно сгорбившись, с книгой в руках сидел отец Герасим. Он очень похудел и постарел. Отец Павел не сразу узнал в нем своего бывшего товарища. Увидев вошедшего священника, отец Герасим поднялся и приветливо заговорил:

— Пожалуйте, пожалуйста, милости прошу садиться. Батюшки! Да никак Павлуша... Это ты, голубчик... Какими судьбами?

Отец Павел не сразу нашелся, что ответить. Товарищески обняв отца Герасима и трижды поцеловавшись с ним, он грузно опустился на стул и еще раз с недоумением осмотрел комнату. Глаза его чего-то искали.

— Ты что же это... Как это так... Что же это значит? — растерянно заговорил он наконец... — Неужели... — Отец Павел не закончил вопроса.

Отец Герасим догадался, о чем спрашивал его отец Павел. Грустная тень пробежала у него по лицу.

— Ты, вероятно, насчет моей холостяцкой квартиры? Думай дальше... Вывод правильный получишь. Эх, Павлуша, помнишь, еще в семинарии вы звали меня неудачником. Горе пророчили. Верно вышло. Одна радость была у меня, и ту схоронил... рядом с ней дочку уложил. Теперь вот живу бобылем. Но зачем об этом. Зачем тревожить рану. Ты лучше о себе что-нибудь расскажи. Ведь сколько лет, сколько зим не видались. Да как ты в наш город-то попал? Да ты где служишь, как поживаешь? Есть жена, дети?

Отец Герасим сыпал вопросами, но отец Павел и не думал ему отвечать. Молча сидел он на стуле. Ему вспомнились слова батюшки на пароходе: «Носимся со своим горем и не думаем о том, что у другого, может быть, еще большее горе». Что значит его горе в сравнении с горем товарища. Он здоров, у него жена молодая, полная сил. А каким счастливым чувствовал он себя, когда бывало четверо детишек облепят его кругом, понасядут ему на колени. Взберутся на плечи — все такие здоровые, шаловливые. Ведь только жить бы да радоваться. Отец Герасим лишился всего этого, а живет же... И отцу Павлу стало вдруг стыдно за свое малодушие. Скомкано и уже не с тем одушевлением, с каким рассказывал он батюшке на пароходе, передал он свою историю отцу Герасиму.

— Ну, не унывай, — сказал отец Герасим, — дело поправимое. У нас теперь новый архиерей, довольно оригинальный, и, кажется... многообещающий... Может он и совсем с другой точки зрения посмотрит на твой поступок.

— А я вот собственно за этим и зашел к тебе: расспросить, каков он у вас?

— Как тебе сказать... Видал я его: ходил тоже в собор на встречу. Сразу не узнаешь человека. А только преоригинальный господин. Я таких еще не видывал. Это какой-то неслыханный архиерей. Про «встречу» — то его и теперь еще сколько разговору по городу идет. Слыхал, чать?

— Нет, не довелось: я ведь с недельку как приехал сюда.

— Да и он-то всего с недельку. Прошлую пятницу получили телеграмму, что едет, мол, на пароходе, завтра-де у вас будет. Собрались все наши отцы в собор. Облачились, люстру зажгли. Приготовились. Все как следует. И из публики кой-кто пришел. На пристань карета покатила. — Расселись отцы в алтаре. Ждут-пождут, когда это на колокольне затрезвонят, а тем временем разговоры всякие промеж собой ведут, все больше про архиереев. Тут один батюшка-шутник анекдот еще какой-то рассказал, и так это у него смешно вышло, что протодиакон как стоял возле архиерейского кресла, так и грохнулся в него. Сидит, хохочет: в правой руке кадило, а в левой дикирий. Тут уж все с протодиакона хохотать стали. За разговорами да за хохотом и не заметили, как в алтарь вошли двое каких-то батюшек, а может, кто и заметил, да внимания не обратил: мало ли заходит в алтарь чужих батюшек? Вошли батюшки чинно, помолились, приложились ко святому престолу: один, с наперсным крестом на груди, стал этак в сторонке, в руках жестяную коробку держит, в которой, знаешь, камилавки носят, а другой стал собор осматривать, оглядел алтарь, пошел дальше: тут боковая дверка есть в алтаре, за ней маленький коридорчик прямо в церковную сторожку ведет. Туда все, бывало, отцы покурить забегали, а так как архиерея пришлось ждать долго, то народу там перебивало порядочно. Дым стоял коромыслом. Батюшка прошел прямо туда. Вдруг слышим, к собору карета подкатила, а трезвону нет. Что бы это значило? Глядим, идет кафедральный и прочие отцы, что ездили на пристань встречать владыку, и больше никого. «Нет, — говорит кафедральный, — не приехал. А я было страху набрался. Подъезжаем к пристани, а пароход уже стоит. На целый час раньше расписания пришел. Ну, думаю, беда: гляжу — никого. Я к капитану. "Никакого, — говорит, — архиерея не видал. Вероятно, в телеграмме что-нибудь напугали"». Столпились отцы в кучку, решают вопрос, как же быть? А в это время тот батюшка из алтарной дверки выходит и прямо к архиерейскому месту... стал на орлец и верхнюю рясу с себя снимает. Тут уже все обернулись на него. Снял батюшка рясу... глядь, а у него на груди панагия... Тут другой батюшка подошел к нему, открыл жестянку и подает ему клобук. Надел он клобук, перекрестился, благословил всех, да и говорит: «Мир вам, отцы и братия! Спасибо, что потрудились, пришли сюда встретить меня». Стоят отцы и братия, глазами хлопают: больно уж

неожиданно все это вышло. А владыка между тем продолжает: «Было, — говорит, — мирное время на Руси, когда высоко чтилась святая вера православная: высоко чтились тогда и архиереи. На церковный трезвон сбегался весь народ с великою славою встретить своего архипастыря. Теперь не то: упало благочестие в народе, а интеллигенция наша и совсем отшатнулась от церкви. Грядут дни великого испытания для верных чад церкви, для ее пастырей и архипастырей. И не о славе теперь уже надо думать: наступило время, когда архиереям надо снять с себя митры золоченые, знаменующие славу Иисуса Христа, и надеть венцы терновые, ибо не славится, а больше хулится имя Господне среди народа. Смутные дни переживает Россия; везде волнения, увеличиваются грабежи, убийства, разбои. Тайна беззакония деется, растет и ширится с каждым днем, с каждым часом. Кому же и восстать на брань со злом, как не нам, пастыри словесного стада Христова! Ведь наша—то брань и есть именно борьба с властями и миродержателями тьмы века сего, с духами злобы поднебесными. Дружно же возьмемся за тяжелый труд, братия. Впереди нас Сам Пастыреначальник Господь наш Иисус Христос. Его имейте всегда перед своими глазами. О Нем помните непрестанно: каждую минуту, каждую секунду. Говорю это к тому, что вот вы, например, собрались встретить архиерея, а про невидимого великого Архиерея и забыли. Здесь святой престол Его, а вы анекдоты всякие рассказываете. Здесь жилище Божие, присутствие чистой, таинственной благодати Христовой, а у вас по соседству смрадный дым табачный. Не в укоризну вам говорю сие горькое слово правды, а просто отмечаю факты, как часто отвлекаем свои взоры и мысли от Архиерея Небесного и устремляем их на архиерея земного. Много и других неурядиц у нас. Кто виноват в них? Не время теперь заниматься этим вопросом. Становитесь все — правые и виноватые — за святую работу, за возделывание нивы Божией. Вы посмотрите, что только делается здесь на этой ниве... Исполняются слова пророка Исая: "Бродят люди по земле жестоко угнетенные и голодные, во время голода злятся, хулят царя своего и Бога своего..."» Много и долго говорил владыка. Хорошо говорил... Под конец попросил всех помолиться с ним перед началом его служения на новом месте... Тут только опомнились отцы, стали подходить под благословение, поздравлять с прибытием... Отслужили молебен. Разоблачился владыка, надел опять свою ряску, да и марш с амвона. Тут к нему кафедральный с ключарем подскочили, на ступеньках подхватили его под руки, а он им: «Не беспокойтесь, — говорит, — я не беременный». Схватил сам одного да другого под руки и потащил их перед собой. «Ну, — говорит, — показывайте, где тут моя квартира, а вас всех, отцы и братия, прошу ко мне пожаловать в воскресенье вечером на чай...» Да, оригинальный архиерей... — закончил свой рассказ отец Герасим.

Немного погодя он снова начал:

— В прошлое воскресенье владыка служил в соборе. Нарочно сходил посмотреть на его служение. Хорошо служит. Голос у него такой сильный, звучный; так по собору эхом и раскатывается. Собой представительный, а в полном архиерейском облачении еще лучше выглядит. Как пойдет по собору кадить, любо смотреть. Осанка прямо царская... Завтра тоже он служит тут в монастыре. Сходи, посмотри, если есть желание... — предложил отец Герасим своему гостю.

— Я и сам думал: прежде чем идти к архиерею с просьбой — взглянуть на него где-нибудь со стороны. У меня глаз на этот счет верный. Понравится — пойду, не понравится — не пойду: все равно толку никакого не будет.

Стук в дверь прервал разговор приятелей.

— Пожалуйте, кто там? — ответил на стук отец Герасим.

Дверь отворилась, и в нее просунулась всклокоченная голова какого-то оборванца.

— Батюшка, а вы обещали к нам зайти, так не забудьте.

— Сейчас, сейчас, иду, — заторопился отец Герасим. — Ну, Павлуша, ты меня пока извини; я тут побегаю по одному дельцу. Ты ведь у меня ночуешь? Да ты где ж остановился? На постоялом? Зачем же? Ты переезжай ко мне... Сейчас же... Ладно? Поживем вместе, пока твое дело решится.

— Что ж, если позволишь, я с большим удовольствием, — согласился отец Павел. — Только я уж лучше после к тебе, а то сегодня ты, кажется, занят. Вот уже побываю у архиерея, тогда...

— Как хочешь. После — так после, только приходи. Кстати сообщишь, что тебе скажет архиерей.

Товарищи распрощались. Отец Герасим ушел с ожидавшим его около двери оборванцем, а отец Павел направился к постоялому двору в свою каморку.

Глава третья

Только в первом часу ночи вернулся в свою одинокую квартирку отец Герасим, усталый и измученный. «Дельце», по которому он ушел, проводив отца Павла, ему не удалось «уладить». Слишком поздно позвали его. Федотыч — так звали оборванца — пригласивший к себе отца Герасима, ждал от него помощи своей умирающей жене. Звать доктора у него не было средств, да и зачем, когда он знал, что отец Герасим выхаживал иной раз больных лучше многих докторов. Вошедши в убогую каморку Федотыча, отец Герасим увидел, что с больной уже началась агония. Часа через полтора больной не стало. Перед отцом Герасимом остался растерянный Федотыч. Отец Герасим знал, что у Федотыча нет никого из знакомых, а потому, не теряя времени, снял с себя рясу, засучил рукава подрясника и, отыскав воды, стал обрывать покойницу. Через час, при помощи Федотыча, покойница была обрета и уложена на стол под образами.

— Не тужи, Федотыч, проживем и бобылями, — сказал отец Герасим и, оставив Федотыча одного со своей покойницей, ушел домой, назначив на завтра же отпевание.

Отцу Герасиму хотелось отдохнуть, но сон бежал от него. Встреча с отцом Павлом пробудила в нем жгучие воспоминания, и они — одно за другим — хлынули на него. Вся прожитая жизнь встала у него перед глазами. Вот пронеслись пред ним картины из его детства. Деревня. Воздух лесов и полей... Отец — священник... На улице дерутся пьяные мужики. Возле разодрались мальчишки. Из соседней хаты доносится нечеловеческий крик — то муж «учит» жену.

— Господи! И чего только людям не достает? Из-за чего дерутся? — вздыхает, стоя на крыльчке батюшкиного дома, мать отца Герасима. И вздох ее неразрешимым вопросом врезается в головку подрастающего Гераськи, будущего отца Герасима. Этот вопрос мучит его в духовном училище, еще острее колет его сердце с переходом в семинарию, но только в 5-м классе семинарии он, как показалось тогда ему, нашел на него ясный ответ: «Любви не хватало, любви к Богу и ближнему. Люди забыли Евангелие. Христиане отвергли Христа, продолжая называться его именем». С этого момента юный и пылкий семинарист Герасим Иванович ни о чем больше не говорил, как только о любви. Любимым чтением его стали произведения, в которых выводились героями проповедники

любви. С этого же момента он твердо решил пойти в священники и посвятить все свои силы проповеди мира и любви. Будущее место своего служения отец Герасим заранее представлял себе не иначе как в виде беднейшего сельского прихода в епархии.

Вскоре, однако, отец Герасим оставил свою мечту о служении в деревне. В городе он встретил людей, которые были несчастнее сельчан. То были обитатели разных ночлежек; им еще более не доставало того, что думал нести Герасим Иванович своим сельчанам. Тут было сплошное царство злобы и тьмы. И вот он решает, что будет священником в городе, но только подальше от центральных богатых церквей. Там, где—нибудь окраине города, где больше всего любит ютиться городская рвань.

Быстро промчались семинарские годы. Начальство прочило Герасима Ивановича в академию, но он отказался. Ему скорей хотелось добраться до дела. И вот осуществилась, наконец, его мечта. Герасим Иванович стал отцом Герасимом, настоятелем одной из окраинных в городе церквей.

Пылко взялся отец Герасим за работу, и сразу же весь ушел в нее. Полились из уст его горячие речи о Божией правде, о любви, о мире. И за обедней, и за вечерней, и за всякой службой раздавалась в церкви горячая проповедь красноречивого, талантливое и неутомимого проповедника. Слушатели отца Герасима были именно таковыми, каких он желал иметь себе. О многих из них можно было сказать, что они утратили в себе не только образ Божий, но и обличье человека.

Слушателей было мало: приход по объему был велик, но «настоящих прихожан» почти не было. Большинство домишек, входивших в район прихода, населяла именно городская рвань, которая заходила в церковь только с целью укрыться от непогоды или найти какого—нибудь богомольца, от которого можно было поживиться копеечкой. Слушатели не шли к отцу Герасиму. Тогда отец Герасим сам пошел к ним. Он перенес центр своей проповеднической деятельности в самое гнездо, кишевшее отбросами общества, — в ночлежку и здесь с еще большей энергией принялся за проповедь евангельской любви. Целыми днями, напрягая все силы своей души и пользуясь самым разнообразными средствами, старался он, не жалея своих мрачных красок, обрисовать своим слушателям гнусное царство отвратительной злобы, мучительной тьмы, омерзительного порока и резко противопоставлять ему во всем пленительном блеске светлое царство благодатного мира, радостной любви и святой правды.

Тяжел был труд на ниве Божией, но отец Герасим сеял, сеял, и сеял. Всходов, однако, никаких не показывалось. Его слушатели не стали лучше ни на волосок, в отношении же себя он ясно различал начинавшую зарождаться в слушателях беспричинную ненависть к себе. Дальше — хуже. Скоро отец Герасим увидел и факт явного издевательства над своей проповедью.

Как—то раз отец Герасим по хозяйственной надобности отправился в город вместе с матушкой. Дома не осталось никого. Возвратившись из города слишком поздно, отец Герасим нашел двери своей квартиры выломанными, а саму квартиру совершенно пустой. Воры вытащили все, что только можно было унести из квартиры. На окне была приклеена безграмотная записка: «Ты много говорил нам о святости. Святые люди ничего не имели. Мы захотели, чтоб и ты был святой».

Отец Герасим не опечалился происшедшим. Он только ужаснулся черствости человеческого сердца. Кое—как оправившись после погрома, отец Герасим принялся за свои беседы с двойной энергией. Слишком каменистая почва, — думал он, — но не может

быть, чтобы люди возненавидели свое собственное счастье, а ведь это счастье им может дать только евангельское благовестие.

Вскоре, однако, последовал случай, который резко переменял направление деятельности отца Герасима.

Однажды, по обыкновению отец Герасим зашел для собеседования в ночлежку. Среди обитателей ее на этот раз было особенно много пьяных. Отец Герасим остановился возле одного, лежавшего ничком на нарах в полубессознательном состоянии, в луже собственной блевотины, и, указывая на него другим, повел беседу против пьянства. Гневно и грозно клеймил он порок, пылко и красноречиво доказывал необходимость трезвости. Долго говорил отец Герасим. Молча слушали его ночлежники, тупо уставившись своими полусонными глазами на пьяного товарища. И только один из них, как бы проснувшись наконец и как-то бессмысленно ухмыльнувшись, процедил сквозь зубы: «Да он уже умер».

Отец Герасим сначала ничего не понял. «Кто умер?» — сорвался у него тревожный вопрос, и вдруг он понял...

Что-то оборвалось, упало, тяжело придавило сердце отца Герасима и острой болью бросилось ему в мозг. Растерянно стоял он возле трупа человека, над которым только что демонстрировал свою беседу, и с мучительной тоской глядел на него, смутно пытаясь постичь какую-то тайну, оставшуюся скрытой от него до сих пор.

Кто-то из ночлежников повернул труп на спину, чтобы дать ему положение покойника. Глаза были открыты, и покойник уставился на толпу мертвым взглядом. Сколько ужаса, страха, отчаяния и страдания было в этом застывшем взгляде! Отцу Герасиму приходилось раньше хоронить умерших в пьяном виде, но ничего подобного он не наблюдал. Там смерть накладывала печать бессмыслия; тут же одна бесконечная мука. О ней говорили и судорожно сжатые костлявые руки, и страшно худая впалая грудь, едва прикрытая лохмотьями, которые, как теперь только заметил отец Герасим, кишели насекомыми.

Отец Герасим оправил свесившиеся концы лохмотьев, чтобы прикрыть ими наготу. Нечаянно руки его коснулись голого тела и нащупали что-то липкое, грязное. Он приподнял лохмотья, и из-под них пахло на него зловонием. В это же время он увидел, что низ живота у покойника представляет собою одну сплошную язву, сочившуюся гноем.

С ужасом отдернул свои руки отец Герасим и помутившимся взглядом окинул ночлежников. И вдруг он увидел то, что оставалось для него сокрытым до сих пор. Он увидел печать всяких язв, скрывавшихся под лохмотьями ночлежников, и все эти ночлежники, босяки, пьяницы, бродяги и хулиганы, все нищие, сколько их есть на свете, представились ему одной сплошной, изъеденной вшами зловонной язвой на теле человечества. «Господи! — застонал отец Герасим. — Что же я делал! Ведь не учить их надо, а мыть, чистить, скоблить, лечить...»

С этой поры отец Герасим замолк. Как стыдно стало ему за свои пылкие, красноречивые проповеди, в особенности за те, в которых он говорил о значении страданий на земле, развивая мысль об их душеспасительности. Вспоминая свою прошлую проповедническую деятельность, он невольно сравнивал себя с человеком, который, стоя на мосту, увидел в реке другого и стал говорить ему о пользе водолечения, не замечая того, что человек тот тонет, и что не советы ему надо давать, а скорей бросать спасательный пояс или веревку.

Отец Герасим сжег все пособия к ведению всевозможных бесед и поучений, обложил себя всякими лечебниками и врачебными пособиями, записался вольнослушателем на медицинский факультет, устроил у себя дома аптечку и с тем же рвением, с каким вел раньше дело проповеди, взялся за лечение своих пасомых. В отношениях ночлежников к отцу Герасиму произошла резкая перемена. Отца Герасима стали звать во все стороны. И во всех бедныхдомишках, в ночлежках, в разных притонах, где хоронилась городская нищета, он стал желанным гостем.

Дорого расплатился отец Герасим за свой новый порыв служения ближнему. Через месяц же, выхаживая одного тифозного, он сам заразился тифом. Крепкий организм его, однако, выдержал болезнь, но не выдержала матушка, сначала ухаживавшая за мужем, а потом и сама свалившаяся с ног. Схоронив жену, отец Герасим вскоре же снес на кладбище и единственную дочь.

Кровь павших в битве товарищей вселяет в бойцов новые силы к борьбе. Так же подействовали на отца Герасима смерть жены и дочери. Если и раньше его редко можно было видеть дома, то теперь отец Герасим заглядывал к себе лишь для того, чтобы взять лекарства да урвать у ночи несколько часов для сна. Он забросил не только свою квартиру, но и церковь. Скучным показалось ему стоять часами в церкви и тратить время на славословие Бога, когда там, за стенами храма, неслышными ни для кого стонами был наполнен весь воздух, когда каждая минута, каждая секунда нужна была для того, чтобы вырвать чье-либо здоровье или чью-либо жизнь из когтей смерти.

Часто, совершая каждение пред святыми иконами, отец Герасим чувствовал, как в сердце его поднималось чувство озлобления против этих безмолвных небожителей, которые казались ему такими равнодушными к той бездне клокотавшего людского горя, в самой середине которого стоял он, отец Герасим.

И вот, все короче стал позванивать церковный колокол, все реже и реже отпирались церковные двери, и скоро светлые ризы на иконах в храме подернулись серым налетом пыли.

Отслужив посокращеннее церковную службу, отец Герасим спешил скорее к своим страдальцам. На лицах последних каждый раз при его появлении расцветала радость. Но не было радости на сердце самого отца Герасима, наоборот, он чувствовал, что с каждым годом его собственная жизнь становится ему тяжелее.

Лечил отец Герасим с успехом, но там, где медицина оказывалась бессильной не только при его познаниях, но и в руках самых опытных врачей, отец Герасим бросал все лекарства и окружал больного такой лаской, таким теплом, что умиравшие страдальцы благословляли его не менее выздоравливающих.

Успех, однако, не радовал отца Герасима. Чем большую успешную помощь оказывал отец Герасим, тем больше и больше возрастал спрос на нее. Выздоровливал один, взамен его являлись трое. Выхватывал отец Герасим из нищеты одного, на место его являлось пятеро. Со своим горем, с болезнями со всех сторон пошли к отцу Герасиму люди волной, и начал чувствовать отец Герасим, что эта волна захлестнет скоро его самого. Шаг за шагом раскрывалась перед ним ширь необъятного моря людского горя, и, ища берегов этого моря, отец Герасим понял, наконец, что оно безбрежно. Понял и ужаснулся. И от ужаса стали опускаться у него руки, сгорбилась спина, поседела голова.

Но еще больший ужас охватил отца Герасима, когда он взглянул на другую бездну, бездну человеческой испорченности. Раньше она ему видна была лишь своим краешком, той поверхностной точкой, которая видима глазу всякого человека. Теперь, открывая отцу Герасиму свои болезни и раны, люди раскрывали ему и свое сердце.

Боже! Каким нравственным зловонием пахнуло на отца Герасима, когда ему удалось приподнять лохмотья той невидимой одежды, которой прикрывали люди свои душевные язвы от взглядов посторонних. Теперь он знал, например, что эти нищенки—старушки, которых он называл своими заступницами перед Богом и которым раздавал свои копейки, собирали милостыньку не только для своего пропитания. Знал он, что из собранного они оставляли себе лишь часть, а на остальные покупали водки и разных лакомств для какого-нибудь бродяги, сойдясь с которым после «трудового» дня, за принесенные лакомства и водку получали они от него удовлетворение своих пошлых страстишек. Узнал отец Герасим и о той роли, которую играли в ночлежках мальчишки—подростки, подманиваемые ночлежниками и за копейку укладывавшиеся вместе с ними под одну дерюгу. Узнал и много другого отец Герасим. Люди не щадили друг друга и вместе со своими грехами выкладывали перед ним и чужую грязь. Из рассказов падших созданий узнал отец Герасим всю гадость жизни среднего и даже высшего общества с ее обратной стороны, и узнав, почувствовал, как похолодело его сердце, оборвалась воля, заледенела душа.

Тяжелая свинцовая тяжесть навалилась на отца Герасима, и он уже не мог идти: он стал влачить свое существование, в тупом ожидании, когда, наконец, эта тяжесть расплющит его совсем. И раньше мало водивший знакомств в городе, отец Герасим замкнулся теперь совершенно, изредка лишь показываясь по какому-нибудь особенному случаю.

Среди городского духовенства отец Герасим слыл за нечто вроде юродивого.

Раньше, когда силы еще не изменяли отцу Герасиму, он пытался звать себе на помощь отзывчивых людей, ездил несколько раз к архиерею, но его нервные, назойливые, больные речи только раздражали начальство. Теперь отец Герасим не ждал уже больше ниоткуда помощи.

Во внешнем своем поведении отец Герасим, впрочем, мало изменился. Так же продолжал он ходить за больными, возился с ночлежниками, лечил алкоголиков, обмывал, очищал зараженных, предавал земле распрощавшихся с жизнью, но все это он делал скорее в силу привычки, машинально. Никакой идеи он уже в это дело не вкладывал и скоро даже перестал давать себе отчет в своих поступках.

Протолкавшись весь день по «приходу», отец Герасим торопился к вечеру домой и тут спешил скорей забыться тяжелым сном, чтобы не дать возможности разгуляться своим думам. Последнее не всегда ему удавалось. В долгие зимние ночи, когда на улице начинала вдруг разыгрываться страшная вьюга, холодный ветер, проникая в комнату, уносил из нее тепло, и отец Герасим просыпался от пронизывающего холода. И тогда он уже не мог заставить себя снова заснуть. Сон убегал, думы разгорались в голове. Свист ветра, завывание бури и непроглядная ночная тьма разжигали воображение. Все, что наполняло день отца Герасима, вставало вдруг перед ним, принимая различные образы. Больные, слепые, хромые, убогие, нищие, пьяные, живые и мертвые мелькали перед ним человеческие облики бесконечной вереницей. Они стонали, рыдали, безумно смеялись, невыносимо смердели и вдруг, потеряв свои очертания, сливались в одну беспредельную, гнойную, смердящую язву, ту язву, которую отец Герасим впервые прозрел в ночлежном приюте в день, когда над трупом несчастного пьяницы поучал бродяг трезвости.

Язва ширилась, росла, принимала гигантские размеры, напознала на отца Герасима. И он вскакивал вдруг с постели, содрогаясь от ужаса. Отирая холодный пот с застывшего лба, метался он из угла в угол по комнате, пока рассвет наступавшего дня не разгонял ночной темноты и не прекращал его галлюцинаций.

Так потянулись дни за днями. Жизнь катила мимо отца Герасима. Он смотрел на нее взглядом зрителя, рассматривающего постоянно меняющиеся картины в панораме. Безучастно относился он даже к таким крупным событиям в жизни духовенства, как смена архиереев. По повестке благочинного являлся он в собор на встречу нового владыки, принимал от него, в числе других, благословение и, отбив эту формальность, снова уходил в свой замкнутый круг.

Теперешний, вновь прибывший владыка, правда, резко отличался от своих предшественников, отец Герасим сразу увидел в нем необыкновенного человека, но... там, где на его вопли оставалось безответным небо, что мог дать ему епископ?

Одно только интересовало отца Герасима: это участь его товарища отца Павла. Как бы то ни было, поступок последнего выходил из ряда обычных, и узнать о нем мнение нового архиерея было любопытно.

Отец Герасим стал ждать к себе отца Павла.

Глава четвёртая

Гулко пронеслись над проснувшимся городом первые удары соборного колокола. Радостно откликнулись на них с других колоколен. Загудели, зазвенели могучие звуки и, трепещущей могучей волной повисши в освежившемся ночным ветерком воздухе, далеким эхом раскатились по окрестностям города.

К церквам в разных направлениях потянулись богомольцы. Особенно много их шло по направлению к монастырю, где на этот раз служил архиерей.

Отцу Павлу пришлось пройти значительное расстояние, прежде чем добраться до монастыря. Когда он вошел в обширный монастырский собор, служба уже шла; приближалось время пресуществления Святых Даров. Народу было полно.

Пробравшись в самый перед, отец Павел стал против Царских врат, откуда лучше всего можно было увидеть архиерея и наблюдать за действиями в алтаре. Глаза его тотчас же устремились туда. Там, перед святым престолом, окруженным целым сонмом священнослужителей, буквально в облаках кадильного дыма стоял святитель.

Что сразу же бросилось в глаза отцу Павлу — это отсутствие всякой суетни, столь обычной при архиерейских служениях. Какая-то благоговейная тишина царила в алтаре. Величественная фигура святителя, казалось, застыла в молитвенном напряжении. Молча и неподвижно стояли священники, серьезные, глубоко сосредоточенные. Глаза их были устремлены на святой престол, уста шептали молитвы, во взоре выражалось чувство томительного ожидания. Казалось, что все священнодействующие ждали пришествия Кого-то. Невидимого, и у всех у них была одна мысль, что это пришествие Невидимого зависит от степени их усиленного молитвенного призывания, и чем сильнее они будут призывать Его, тем ощутительнее Он явится им здесь, среди них, на этом именно святом престоле; и, наоборот, если ослабнет внимание и напряжение их духовных сил, устремившихся незримиыми токами через видимое небо к Невидимому Богу, — оборвется

обратный ток Христовой благодати, и останется небо без ответа, а они уйдут от святого престола неудовлетворенные и смущенные, и нельзя будет им смелыми и ясными глазами взглянуть на эту толпу молящихся, собравшуюся в надежде получения благодати и оставшуюся обманутой, благодаря бессилию их, духовных своих посредников между небом и землей.

Священный трепет охватил отца Павла. Невольно вспомнились ему рассказы палестинских путешественников о нисхождении святого огня в Великую субботу У гроба Господня. Вот многотысячная толпа паломников многих национальностей наполнила храм. Все с напряжением ждут таинственного момента. Взоры всех обращены на патриарха. Медленно тянется время, но близится торжественный момент. Толпа то зашумит, всколыхнется, то снова замрет в ожидании. С полным сознанием лежащей на нем ответственности идет патриарх в часовню гроба Господня. Здесь перед мраморной доской, лежащей на месте, где лежало Тело Иисусово, падает он ниц, в горячей молитве умоляя Господа о ниспослании огня. Проходит в томлении минута... одна... другая... третья... огня нет. В храме слышится гул. Сначала тихий и робкий, растет он затем все шире и выше и, наконец, тяжелой волной сердитого рокота долетает до слуха святителя. Хорошо знает святитель, что означает этот гул. Это ропот толпы, недовольной слабостью молитвы святителя. Если не будет огня, обманутая в своем ожидании толпа растерзает его живого. И в смертной тоске он снова и снова простирается ниц на холодном полу, напрягает последние силы и весь уходит в молитву. Холодный пот выступает у него на лбу. Вдруг маленькая искорка, за ней другая, третья засверкали над доской. Радостный подымается с полу святитель, спешит зажечь о них пук свечей, и торжествуя выносит его народу. Ликует толпа, хватается огонь, целует руки, ноги, одежду святителя, а он, изможденный и крайне усталый, исполнив свой долг, спешит удалиться.

Отцу Павлу, смотревшему на владыку, не случайно пришла в голову мысль сравнить его с Иерусалимским патриархом. Владыка, казалось, действительно находился в том же томлении духа. С той же тревогой ожидал он наступления момента пресуществления Святых Даров и молил Господа о нисхождении на них Святого Духа. Молитвенное напряжение святителя сказывалось в его голосе и в тех ударениях, с которыми он произносил положенные по служебнику возгласы.

Чувство недоумения охватило отца Павла, когда он прислушался к голосу владыки. Странно: голос этот показался ему знакомым. Но напрасно отец Павел напрягал свою память: он никак не мог вспомнить, где именно он слышал этот голос и кому он принадлежал. С живейшим нетерпением стал он ожидать, когда владыка обернется лицом к народу...

Кончился момент пресуществления Святых Даров. «Аминь. Аминь. Аминь», — раскатился по алтарю радостный вздох протодиакона, и все священнодействовавшие, осенив себя крестным знамением, в порыве сердечного благодарения Богу, пали ниц перед Его святым престолом.

По ходу службы отец Павел знал, что еще два–три возгласа, и владыка обернется к народу преподать ему благословение. Он нетерпеливо подвинулся вперед и, сам не замечая того, отстранил рукой стоящую впереди его какую–то даму, огромная шляпа которой мешала ему видеть Царские врата. Дама обернулась, что–то обидчиво заговорила, но отец Павел не успел расслышать: в это время в Царских вратах показалась фигура архиерея с лицом, обращенным к народу. Быстро вскинул на него глаза отец Павел и... остолбенел. Перед ним, в архиерейском облачении, с митрой на голове, стоял парходский «батюшка».

Мысли спутались в голове отца Павла. Внутри у него как будто что-то вспыхнуло, закружилось, завертелось и разлилось по лицу жгучей краской стыда. Инстинктивно он подался назад, стараясь скрыться в толпе народа, чтобы не попасть на глаза архиерею. Но владыка, казалось, не заметил никого. Окинув быстрым взглядом толпу, он тотчас же поднял свои глаза к небу и, преподав народу благословение, удалился в алтарь.

— Господи! Что я наделал?! Что я наделал?! — прошептал почти вслух отец Павел. — Ведь это я ему предложил водочки-то.

Кое-как дослушал он обедню и, не дожидаясь расхода молящихся, быстро направился к выходу, порешив в уме в тот же день выехать из города.

— Батюшка, а батюшка! — послышалось сзади отца Павла. Он обернулся и увидел догонявшего его стихарщика. — Владыка приказал вам сказать, чтобы вы пришли к нему в следующее воскресенье, вечером непременно...

— Ну, пропал я, — подумал отец Павел, — заметил...

Выходившая из церкви толпа оттеснила отца Павла, затолкала, подхватила и вынесла за монастырскую стену.

Владыка остался осматривать монастырь. Этот монастырь известен был своей чудотворной иконой, к которой стекались богомольцы почти со всех концов России. В золотой ризе, сплошь усыпанной драгоценными камнями, стоимость которых исчислялась сотнями тысяч рублей, эта икона стояла на самом видном месте храма монастырского и составляла его главную святыню и единственную славу крупнейшего монастыря. Незадолго до прибытия в епархию нового владыки икона была украдена. Ахнули православные, услышав об этом небывалом еще в истории России кощунственном святотатстве. Розыски не привели ни к чему. Икона погибла для монастыря безвозвратно.

Много обвинений посыпалось на монастырскую братию за то, что не смогли уберечь святыню. Доля правды была в этих обвинениях. Монастырь был огорожен высокой каменной стеной, перелезть через которую не пришло бы в голову ни одному вору, но в одном месте, где монастырь соприкасался с частным владением, вместо каменной стены протянулся низенький дощатый заборчик. Отсюда, видно, не ожидали никакой опасности. Через это-то место и забрались воры. Этим же путем унесли они икону.

Русский человек задним умом крепок. Только после похищения святыни пришла монахам мысль обезопасить это место: протянуть и здесь тоже каменную стену. Мысль эта была приведена в исполнение с большим усердием, и теперь на месте прежнего деревянного заборчика высилась огромная каменная стена, через которую, действительно, и ворону страшно было перелететь. Отец игумен справедливо гордился этой постройкой. К ней-то он и повел владыку, в надежде, что архипастырь по достоинству оценит его труды. Но в этом ему пришлось разочароваться. Владыка внимательно осмотрел стену, покачал головой, услышав, каких денег она стоила, и вдруг, остановившись, круто повернулся к сопровождавшей его монастырской братии.

— Ну что ж? Вот вы построили стену и думаете, что защитились от воров? Напрасно: воров вам не перехитрить, устанете. От воров можно было спастись стенами да запорами в старину, когда разбойничали только на больших дорогах, в темном лесу, в полуночное время, когда разбойника или вора можно было узнать даже по наружности. Теперь не то. Сами вы знаете, что воров расплодилось теперь столько, что не хватит рук переловить их

всех. Хотите обезопасить себя от воров? Не собирайте сокровищ, которые воры крадут. Если бы оставался чудотворный образ в виде, каким явил его Господь, едва ли пришло кому-нибудь в голову украсть его... Обложили его золотом, усыпали его драгоценными камнями... А кому нужны они? — Кому нужны были, тот и взял их. Вам ли напоминать, что «Господь не от рук человеческих угождения приемлет, требуя что...» Народ этим выражает свою благодарность, свое служение Богу. Иной ведь больше ничем не может послужить Господу, как только именем своим. И с радостью несет он его в монастырь... Да будет благословен его дар... но «милости хочу, а не жертвы». Не на вас ли лежит священная обязанность очищать людские жертвы? Не всякая копейка, принесенная в монастырь, чиста; от иной смердит грехом, а от которой и кровью пахнет. Очищайте же всякое серебро и золото, приносимое сюда, расплавляя и перегоняя его через горнило вашего благочестия. Все приносимое в монастырь должно служить лишь подставкой для того светильника, о котором сказано в Евангелии, что его не ставят под спуд. А ведь этот светильник нисколько не будет ярче гореть от того, что дом, в котором он стоит, обложите вы золотом и изнутри, и снаружи. Светильник разгорится ярче тогда, когда вы вольете масла, елея. Только на елей и в елей должны вы обращать те денежные и прочие приношения, которые поступают в монастырь. Вы хорошо понимаете, о каком елее я веду речь. Побольше этого елея, и тогда ярко разгорится тот свет, о котором сказано: «Тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят...»

— Как дальше? — обратился вдруг владыка к одному монаху, по всей вероятности, страдавшему ожирением. Не ожидавший такого внезапного вопроса монах смутился и не мог продолжить приведенного евангельского текста.

Владыка улыбнулся и, повернувшись, пошел дальше продолжать осмотр монастыря. Ему хотелось взглянуть на монастырские пещеры, прорытые под землю еще первыми основоположниками монастыря. Это был целый подземный монастырь. Темные кельи и разветвленные по всем направлениям ходы со множеством изгибов и пересечений представляли собою целый лабиринт, выбраться из которого без проводника было немыслимо. Сюда-то удалялись в затвор первые подвижники. Тут они проводили дни и ночи в молитве, обуздывая похоть плоти рытьем первых келий и новых ходов.

Теперь в пещерах никто не жил. Они существовали лишь как достопримечательность монастыря, которую показывали богомольцам. В кельях стояли только иконы, возле которых приделаны были кружки, куда богомольцы опускали свои копейки.

Богомольцам, желавшим взглянуть на пещеры, почти при самом входе становилось жутко; с некоторыми дамами делались обмороки. Побывавшие в пещерах говорили, что теперь они могут составить себе понятие о чувствах заживо погребенных. Становилось жутко, несмотря на проводника и толпу богомольцев, ходивших обычно по пещерам с зажженными свечами... Что же испытывали основатели этих пещер, работавшие здесь в одиночку при тусклом свете лучины?..

В глубоком молчании осматривал владыка пещеры. На одном из поворотов он остановился и спросил отца игумена:

— Сколько лет существуют здесь пещеры?

— Более ста лет, ваше преосвященство.

— И за сто лет, — задумчиво проговорил владыка, — не нашлось ни одного монаха, который, по примеру этих отцов, хоть на вершок бы покопал далее...

При выходе из пещер владыка обратил внимание на тяжелые железные вериги, висевшие на стене, оставшиеся от первых подвижников. Вериги представляли собой тяжелые, почти пудовые обручи, замыкавшиеся на замок.

— Вот, — обратился к монахам архиерей, — вот какими запорами вам надо защищаться от воров, вот какими стенами, — владыка показал на пещеры, — нужно загоразживаться от них...

— Ну, где уж нам... — простодушно ответил владыке один из монахов.

— А тогда зачем же вы здесь? — сказал владыка и молча вопросительно уставился глазами на многочисленную монастырскую братию. Молча стояли монахи. Молча поклонился им архиерей и, не сказав больше ни слова, уехал из монастыря.

Глава пятая

Приближавшийся полдень душил горожан летним зноем. Кто только мог, прятался в прохладном месте; но в самый полдень набежала с юга грозовая туча. Блеснула молния. Прогремел гром, и хлынувший сразу, как из ведра, теплый летний дождь живо омыл запылившиеся дома, полил раскалившиеся улицы, очистил пыль с деревьев и через несколько минут представил город во всем его праздничном наряде. Ветерок умчал тучки, и светлое солнышко заиграло вечерними лучами, обдавая лаской и прозрачную синеву неба, и необъятную ширь отдохнувшей земли.

Всех потянуло из душных комнат на вольный воздух.

Около Вознесенской церкви, в небольшом садике, облежавшем квартиру настоятеля, собрался кружок гостей попить чаю под открытым небом. Большинство составляли учащиеся средних учебных заведений. Был тут и родственник отца настоятеля молодой и пылкий юноша Сергей Дмитриевич Алешин — студент Духовной Академии. По небольшой аллее садика прохаживались приятели хозяина отец Владимир и отец Зосима. В укромном уголке сада под тенистым деревом стоял большой стол, покрытый белой скатертью. Хозяйка—матушка сидела за одним концом стола возле большого самовара и приготовляла гостям чай. На другом конце стола примостился сам хозяин, настоятель церкви отец Григорий. С одной стороны его, развалившись на удобном кресле, сидел доктор, старинный друг и товарищ, а с другой — местный купец татарин Садулла Мирзабекович Абдурахманов, тоже приятель отца Григория, уважавший его не только как постоянного покупателя, но и как хорошего соседа.

Чай скоро был приготовлен, и матушка попросила всех гостей к столу. Отец Владимир с отцом Зосимой присоединились к компании отца Григория. Молодежь образовала свой кружок. Завязался общий разговор, сначала про погоду, но вскоре же перешли на злободневные вопросы: заговорили про прибывшего владыку.

— Ну, как ваше мнение, отец Григорий, о нашем новом архипастыре? — обратился отец Владимир к хозяину.

— Что ж вы его спрашиваете, — заметил доктор, — известно, будет хвалить. Ведь, если судить по рассказам, это воплощение его идеала. А помните, — обратился он к отцу Григорию, — вы передавали мне его первую речь к духовенству, мысли—то у него те, что ивы изволите проводить в своих проповедях.

— Да, вы не ошиблись, — восторженно начал отец Григорий, — я в восхищении от нашего нового владыки. По всему видно, что это человек искренний, горячо верующий в Евангелие и уж во всяком случае не бюрократ. От него веет чем-то апостольским. Вот если было больше таких архипастырей было, то, может быть, нам не пришлось бы переживать такой упадок религии в русском обществе. Мне думается, что наш новый владыка сумеет поставить духовенство на должную высоту, и через то сильно поднимет религиозный дух в нашем обществе и снова возвратит в церковь давно уже отпавшую от церкви интеллигенцию.

— Эх, куда хватили... Вот действительно в чем я вас, отец Григорий, никак не могу понять, — закипятился доктор. — По-вашему выходит, что интеллигенция ушла из церкви из-за попов. Помнится мне, вы и в проповеди своей как-то раз объясняли ненависть интеллигенции к церкви тем, что духовное сословие преследует не Божий цели, а свои узко сословные. Полноте, отец Григорий! Слишком вы плохого мнения об интеллигенции. Неужели вы думаете, что она не может отделить в понятии о церкви существенное от случайного: истинной церкви — от попов-обирал, учение Христа — от проповеди какого-нибудь батюшки, наполненной богословской отсебятиной? Ведь не бросила же она, например, литературы из-за того, что в ней развелись всякие нечистоплотные бумагомаратели. Нет, здесь корень глубже лежит. Человечество перешагнуло уже за пределы того возраста, который может еще верить. Оно созрело. Разум вступил в свои права. Человечество вкусило от древа познания и больше уже не откажется от него. Слишком дороги для него данные, добытые знанием. Наука еще не сказала последнего слова, а если и есть голоса, говорящие о ее банкротстве, то ведь это только умственные трусы или ослабевшие умы, которым не под силу тяжелая работа знания. Как бы то ни было, а даже и то немного, что добыто знанием, как нечто положительное, дороже человечеству, чем те богатые и беспредельные сокровища всяких богословских и метафизических туманов, преподносимых ему религией. Наука и вера, религия и разум до сих пор остаются непримиримыми, несмотря на все попытки примирить их. И будущее принадлежит, конечно, науке, знанию, а не вере, потому что человечество, по русской пословице, всегда предпочтет иметь лучше синицу в руках, чем орла в небе... А стало быть, настоящую интеллигенцию, истинных людей науки не только ваш новый архиерей, но и сам Иоанн Златоуст не заманит больше в церковь.

— Нет, в этом я с вами, доктор, не согласен, — возразил отец Григорий. — Вот вы вступились за интеллигенцию, говорите, что она умеет отделить существенное от неважного, а между тем сейчас сами смешали в религии существенное со случайным, преходящим. Вы говорите, что религия отжила свой век. Неправда, отжить свой век может та или другая форма богопочитания. Существенное всегда остается. Отжило свой век еврейство, сменило его христианство. Религия всегда была, есть и будет. Что касается христианства, то про него уж никоим образом нельзя сказать, что оно отжило свой век. Оно есть проповедь о Царстве Божиим, а всю глубину и ширь Царства Божия еще далеко не вместило в себя человечество. Христова правда, глубина и ширь Царства Божия беспредельны. Никакое время не может сказать, что оно уже всю правду Христову раскрыло...

— Так вот вы и раскройте сначала «всю правду Христову», если, по-вашему, ее не раскрыл всю сам Христос и его апостолы, а тогда уж и преподнесите ее человечеству. Увидит оно «всю правду», — может быть, и поймет что-нибудь и примет ее, а теперь пока из того, что открыто, или «раскрыто» до сих пор, еще ничего не может переварить человеческий разум. Понятна ему только одна мораль христианская...

— Но позвольте, — вмешался в разговор отец Владимир, — если разум человеческий не может принять истины христианства во всей их полноте теперь, то ведь это не значит, что он их и никогда не примет, никогда не поймет... Разум прогрессирует, знание расширяется, наука обогащается новыми опытами... А до тех пор извольте все принимать на веру... Ходите в церковь, ставьте свечи... отбивайте поклоны и смотрите уповательно на батюшку, отпустит или не отпустит он вам ваши грехи, то есть впустит или не впустит на том свете в рай.

— Ну, вот вы опять смешали в религии существенное с второстепенным, — заметил отец Григорий.

— Нужно иметь в виду сущность христианства, а не обрядовую его сторону.

— А вы представьте себе, что я до сих пор не могу никак решить вопроса: в чем же, в самом деле, заключается сущность, во-первых, христианства вообще, а во-вторых, — православия в частности.

— А это вот у кого надо спросить, — прервала вдруг разговор матушка и приветливо закивала головой по направлению к калитке сада. Оттуда, не спеша, важной походкой приближался к сидевшим за столом Павел Иванович Юланов, профессор Духовной Академии, известный в богословской науке своими многотомными трудами, любивший зайти в часы досуга к отцу Григорию попить чайку и побеседовать.

— Павел Иванович! Здравствуйте. Милости просим, — заговорил отец Григорий, подымаясь навстречу гостю. — Как кстати вы пожаловали...

— Здравствуйте, здравствуйте, отцы святые, — не теряя важной осанки, раскланивался Павел Иванович, подавая батюшкам свою мягкую, пухлую руку.

— А у нас тут как раз разговор завязался по вашей специальности, — обратился к профессору доктор. — Заговорили о причинах отпадения интеллигенции от церкви, от религии. Отец Григорий, видите ли, всю вину сваливает на «попов». По его словам выходит, что стоит только духовенству заговорить живым искренним словом, взяться за живое Божие служение, и все наладится как нельзя лучше. Кит Китычи раздадут свои имения неимущим, министры будут целоваться с лакеями, студенты ставить свечи перед иконами, а театральные этуали и прима-балерины крестить на ночь своих поклонников и благочестиво наставлять их в честном жительство со своими законными супружницами... Нет, уж что ни говорите, отец Григорий, а одной искренности тут мало. Вспомните историю моего младшего брата. Честный, бескорыстный, добрый до готовности отдать последнюю рубашку. Запил, не знаю отчего, может и наследственность тут сказалась, — и запил запоем. Я ли не убеждал его бросить этот порок? Мои ли слова не искренни были? И говорил я ему, и писал, писал «кровью своей собственной груди», выражаясь языком одного вашего епископа, требующего того же от духовенства в отношении писания проповедей. Правда, слова подействовали: бедняга перестал пить и через неделю повесился. Вот вам и искренность проповеди.

— Но вы, доктор, слишком узко меня понимаете, — возразил отец Григорий. — Я не только говорю о проповеди, о научении, но и о том, чтобы действительно дать людям то благо, которое заключается в христианстве.

— Так вот и будьте добры, покажите-ка мне это благо. Что в самом деле существенного дало и дает христианство человечеству?

— За христианством много заслуг, доктор, — откликнулся отец Владимир. — Я укажу вкратце на главные. Христианство, во-первых, обновило семью, превратив женщину из рабыни в помощницу мужа и признав за ней полное человеческое достоинство и равноправность с мужчиной; даровало, во-вторых, человеческие права детям. Вам известно, конечно, что раньше отцы имели право продавать своих детей в рабство. Затем христианство преобразовало отношения господ и рабов, сначала смягчив и окончательно уничтожив рабство и крепостничество. Изменило, далее, взгляд на труд, сняв с него пятно позора; породило общественную жизнь, выдвинув на первый план заповедь о любви к Богу и ближнему, то есть ко всем людям. Смягчило законодательство, вообще, сильно облагородило человечество. Влияние христианства особенно очевидно в тех преобразованиях, которые произошли в области личной морали. Выработался новый тип человека. Есть человек-христианин с христианскими чувствами, настроением и волею.

— Прекрасно, — не унимался доктор, — но все это сделало христианство в прошлом, это его исторические заслуги. Теперь же таких отцов, которые продают своих детей, в зверинце разве увидите. И выходит, что христианство нужно еще только самоедам, или людоедам, которые не знают, что ближнему нужно служить, а не жарить его на вертеле, да еще туркам, чтобы уравнивать у них женщину с мужчиной. Ну-с, а интеллигенцию учить этим правилам морали, которые теперь первоклассники-гимназисты списывают с прописей, может только кто-нибудь из наивных семинаристов. Да, кстати, обратите внимание на факт: жалуются в настоящее время в духовных журналах на упадок проповеднической деятельности духовенства. Священники-де мало проповедают. Священники молчат. Почему? Лень заела! Мне думается, тут только сотая доля правды. Присмотритесь к священникам: молчат наиболее умные и серьезные из них, а говоруны сыпят проповедями вроде вот вашего соседа по приходу, который не только за обедней, но и за вечерней говорит проповеди, усилил свою проповедническую деятельность, и в результате — кто ходил еще к нему в церковь, и тот перестал ходить. Нет, духовенство просто создало, что нечему учить больше народ. Слава Богу, интеллигенция грамотна, может и сама прочитать Евангелие, а при желании — навести и все справки по толкованию его, не хуже любого из вас. И в этике, и в богословии тоже сумеет сама разобраться, а если и понадобится кому посторонняя помощь, то такую может оказать наставник, учитель, профессор, наконец. Почему непременно священник?

— Согласен с вами в этом, — сказал отец Григорий, — что правила морали можно узнать из прописей, а про идеалы нравственности вычитать из книг. Но не потому ли и остаются эти правила в прописях, чтобы упражнять гимназистов в каллиграфии? Не от того ли теперь так тесно, так душно стало жить, что все это стало у нас слова, а жизнь идет совсем по-иному? Говоря о живой проповеди, я именно на это и хотел указать, что проповедь должна быть не только словом, но и примером, проведением евангельского учения в наши дела и поступки, осуществлением в жизни Христовой правды...

— Короче, по-вашему, священники не только должны учить, но и пример подавать. Прекрасно. И опять я вам скажу, что и на примерного надежд нельзя возлагать. Разрешите вам загадку: почему Коновалов (в повести Максима Горького) повесился? Не нашел в жизни человека — носителя бескорыстных идеалов? Но вот тот же Коновалов уже под другой фамилией в повести того же автора «Супруги Орловы» встречается в холерном бараке с докторами — бескорыстными, самоотверженными служителями своих ближних. Почему в то время, как его жена находит себе здесь просвет в своей жизни, он сам платит за добро гадостью, бросает свой идеальный труд и жену, и отправляется босячить. Впрочем, зачем нам брать литературные типы. Возьмем из жизни. Вы знаете, конечно, отца Герасима, того, что возится с ночлежниками? Где еще искать нам человека бескорыстнее его? Всего себя отдал на служение ближнему: в самый омут залез — и учит,

и лечит, и хоронит, и чуть ли не акушерствует. Есть здесь и живое пастырское делание, а каков результат? Кто пошел за ним? Видел я, как выхаживал он некоторых пьяниц. Возится с ними, добьется, что бросят пить. Не пьют год, два, а потом запивают еще пуще прежнего... Из босяков ни одного порядочного человека не сделал при всех своих прямо-таки нечеловеческих усилиях. Правда, они любят его, но по-своему: целуют его руки, ноги, благодарят и тянут с него последнюю копейку себе на новую выпивку. А самому отцу Герасиму что дал этот подвиг служения ближнему? Разбил, искалечил только ему жизнь... Что вы, профессор, скажете на это? — обратился доктор к Павлу Ивановичу.

Взоры всех уставились на Юланова. Наступила минута молчания. Молодежь, давно уже начавшая прислушиваться к разговору, стихла окончательно. Студент Сергей Дмитриевич впился глазами в профессора. Павел Иванович допил стакан чаю и, не торопясь, своим обычным тоном, которым привык читать лекции студентам, начал:

— В своих рассуждениях о христианстве вы, господа, упускаете из виду важные и существенные стороны его и потому при дальнейших выводах можете впасть в ересь. Если вы будете останавливать свое внимание на учительстве, то вам грозит опасность впасть в протестантство. А давая предпочтение моральной стороне в христианстве, рискуете очутиться в толстовстве. Если же...

— Вот чего терпеть не могу, — раздался вдруг резкий голос из кружка молодежи. Раздраженно поднявшийся студент Сергей Дмитриевич, которому принадлежал этот голос, забыв о правилах приличия, накинулся на опешившего профессора. — Что за скверная привычка, что за гадкая манера на каждое слово спешить наклеивать готовый ярлык: это протестантство... это толстовство... это сектантство... Распределили все мысли человечества по рубрикам и успокоились. Люди бьются, страдают, хотят вникнуть, постичь суть религии, христианства, православия, а вы: это протестантство, это молоканство, это ересь... Скажите ясно, прямо и понятно: в чем же, в самом деле, сущность христианства?

— А вам, юноша, — заговорил обидевшийся профессор, — не следовало бы забывать свои семинарские учебники, а если вы их забыли, то позволю себе напомнить вам основные догматы христианства о троичности лиц в Боге, о воплощении Сына Божия, о воскресении Его из мертвых, об искуплении Им рода человеческого...

— И так далее, и так далее... Смотри оглавление учебника Макария по догматическому богословию... Да поймите же, Павел Иванович, — волновался студент, — что у нас идет не теоретический спор о том, какие главные догматы в христианстве и какой самый важный из них, а о том, что такого существенного, пленительно хорошего заключает в себе христианство, что неотразимо принудительно действовало бы на людей, что заставляло бы их принять, во-первых, религию, а во-вторых, именно христианство, а не магометанство, не толстовство и так далее...

— В христианстве все хорошо, Сергей Дмитриевич, — перебил студента отец Григорий, — укажите в нем хоть одно бесспорно черное пятнышко...

— Не в этом дело, — не останавливался студент, — пусть все здесь хорошо, что пользы в этом, если все это хорошее является в действительности обманом? Кому нужна мишура, хотя бы и блестящая? Не потому люди бросают христианство, что оно низко, что нашли будто бы высшую религию, а потому, что разуверились в его истинности. И тут мы ничего не поделаем со своими онтологическими и прочими логическими и археологическими, и другими доказательствами: они ни для кого не убедительны... Чем больше накапливается

этих доказательств в богословии, тем больше народу бежит от религии, от церкви. Пора обратить на это внимание. Это не упадок богословской науки, нет, крах здесь обнаружился в самом христианстве, и сколько вы не доказывайте его подлинность, неповрежденность и тому подобное, вы этим никого не заставите принять его, раз истинность его не для всех очевидна. Возьмем пример: вы купец, к вам приходит покупатель, спрашивает у вас товару, ну допустим, вина. Вы наливаете ему бутылку и начинаете расхваливать вино, что оно самое лучшее, самое настоящее, что у других такого нет, что оно изделие знаменитейшего винодела, что этот винодел необыкновеннейший человек, что их даже не один, а целая троица, нераздельно владеющая виноградниками и так далее. Покупатель берет у вас вино, но ведь берет не в силу ваших доказательств, а потому, что вино ему нужно, полезно, доставляет удовольствие, он попробовал его и нашел приятный вкус, в противном случае, то есть если бы вино оказалось прокисшим или не понравилось на вкус, он не взял бы его, как бы вы ни доказывали ему, что вино это настоящей фабрики, что оно не поддельное и прочее, а начнете настойчивее доказывать, так заподозрит вас еще и в недобросовестности, в желании сбыть лежалый товар, что и сделано уже в отношении представителей церкви и богословия: ведь вас, отцы, чуть не в лицо уж называют обманщиками и негодьями за ваше усердие отстаивать православие...

— Однако мы удалились от темы разговора, — поморщившись, заметил отец Владимир, — мы говорили о сущности христианства, и теперь для всех понятно, о какой именно сущности, но ведь такой сущностью, Сергей Димитриевич, именно и является моральная сторона в христианстве. Возвышенная евангельская любовь, святая правда Христова пленительны сами по себе. Добро в самом себе имеет ценность. Пользу добра не надо доказывать.

— Вполне согласен с вами, отец Владимир, — откликнулся отец Григорий, — нам остается только открыть всем эту ценность, всем показать эту евангельскую жемчужину, и человечество примет ее без всяких доказательств.

— Откуда вышли, туда опять и пришли, — усмехнулся доктор. — Прошу не забывать сделанного мною возражения: во-первых, добро не для всех пленительно: для Кит Китьча куда привлекательнее кошелек, туго набитый золотом. Вас пленяет высота нравственного идеала, а меня толщина голых ножек танцовщиц... А во-вторых, добро бессильно. Я, может быть, и дошел до основания, что счастье только в добродетели, но это еще не значит, что я стал добродетельным. Я хочу быть таковым, но не могу. Апостол Павел говорит: доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю... Это мировая трагедия с миллионами человеческих жертв, между которыми и мой брат. Бедняга сознавал всю гадость засосавшего его омерзительного порока и пользу добродетельной трезвости, хотел бросить и не мог. И за попытку восстать на борьбу с пороком расплатился своей жизнью. Так вот, о чем я спорю с вами. Противоречий в нашем споре нет. Вы исследователи и указали главную ценность христианства. Я признаю эту ценность, но только отвожу ей должное место.

— Какое? Можно полюбопытствовать?

— То, которое занимают книжки, содержащие в себе правила для поведения в приличном обществе...

— С вами, доктор, рассуждать нельзя: вы говорите парадоксами...

— Нет, серьезно: вы скажите, что дает человеку религиозный культ? Какой смысл во всех тех обрядах, которыми так изобилует в особенности наше «православное» христианство?

На прошлой неделе у нас был храмовый праздник. Приходский батюшка делал визитацию. Зашел ко мне. Окропил с большим усердием, чуть не все стены залил водой, перепортил фотографические карточки на стенах, замочил мои бумаги на столе. Жена и до сих пор бранится за бархатную мебель... Ну, скажите, — какой смысл в этом брызганье водой?

— Кропление было еще в Ветхом Завете, — робко вставил свое слово молчавший доселе отец Зосима, — оно есть символ нашего очищения...

— Так вот я и спрашиваю о том, какой смысл во всех этих символических действиях? Если это прием наглядного обучения людей христианским истинам, то, как я говорил уже, наша интеллигенция не нуждается более в наглядных пособиях. Кому-нибудь, может быть, и нужна икона для того, чтобы от нее уже перенестись потом мыслию к тому, что изображено на ней, а для меня, например, совершенно излишне это напоминание... Я расстройством памяти не страдаю и при желании могу помнить о Боге и на вокзале, и в вагоне, и в театре. По-моему, все это излишне.

— Вот видите, видите, — торжествующе прервал доктора профессор. — Я говорил вам, что вы придете к протестантству, что вы и доказали блистательно. А вся ошибка, господа, произошла от того, что вы неправильно указали сущность христианства. Сущность христианства заключается не в его нравственном учении, а в его догматах. Христианская мораль в основных своих чертах известна была и древнему миру. И для полнейшего раскрытия ее не для чего было нисходить с неба на землю Сыну Божию. Для этого достаточно было послать какого-либо пророка по образу Моисея и начертать новые скрижали. Недаром, замечу в скобках, останавливающие свое внимание исключительно на христианском нравоучении, в конце концов, отказываются признать за Основателем христианства Божеское достоинство, низводя его на степень великого реформатора в области морали. А между тем, если мы возьмем за исходный пункт своих рассуждений христианский догмат об искуплении рода человеческого Сыном Божиим, то путем самых строгих логических выводов дойдем до оправдания даже таких частных в христианском богослужебном культе, как, например, кропление водой.

Профессор сделал паузу и довольным взглядом окинул собеседников. Какой-то сделанный, глухой звук, не то стон, не то вздох вырвался из груди Сергея Дмитриевича.

— Довольно логики, — нервно заговорил студент, — схоластикой тычут в глаза семинаристам первоклассники-гимназисты. Мы жизни хотим. Мы смотрим на жизнь, на ту самую жизнь, которая стоит перед нашими глазами, которою живет современное человечество. Отсюда мы зовем к ответу христианство. Искупление... спасение... воскресение... возрождение... обновление... ветхий человек... новый человек... сила Божия... благодать, благодать, благодать... В семинарии еще набили нам оскомину этими словами, и только еще одни наставники наши да профессора не могут никак догадаться, что это только слова, слова и слова, которые или совсем не имеют смысла, или смысл которых давным-давно утрачен. Почти два тысячелетия слышит эти слова весь мир и до сих пор не может понять, о каком воскресении, возрождении, обновлении человечества идет речь. Раньше, до Христа, человечество имело одну религию, после приняло другую; в жизни человечества произошла перемена в вероучении, в мыслях, чувствах, настроениях и только; в существе своем человечество, какое было, такое и осталось: произошло то, что перечислил отец Владимир, говоря о заслугах христианства. В жизни отдельного лица произошло то, что так гениально изобразил Л. Н. Толстой в своем романе «Воскресение». Был человек — князь Нехлюдов, жил он скверно, делал плохие дела, затем понял, что это

гадко, переменил свой взгляд на вещи, перестал делать гадости, стал поступать нравственно. Вот и все возрождение, весь смысл воскресения.

— Это грубое заблуждение, молодой человек, — вскинул глаза на студента профессор, — христианство разумеет не это воскресение.

— Так какое же, какое? — почти кричал студент. — Я понимаю учение церкви о воскресении Христа. Христос Воскрес, конечно, не в этом смысле. Он умер и воскрес из мертвых в буквальном смысле. И нам остается только или оспаривать этот факт, или верить ему. Но ведь после воскресения Христа не воскрес еще ни один человек! Как умирали до Христа, так продолжают умирать и после Него. Это не мое возражение, оно сделано было человечеством еще первым проповедникам христианства. Смотри об этом в Соборном послании апостола Петра. Апостолы проповедовали человечеству о победе над смертью, о воскресении, а собственный опыт людей говорил им, что власть смерти нисколько не уменьшилась, потому что глаза их продолжали видеть каждый день покойников. Апостолы устранили это противоречие, подчеркнув древнее учение о будущем воскресении мертвых, которое отрицали, может быть, только саддукеи и эпикурейцы. В доказательство действительности будущего воскресения апостолы ссылались на факт воскресения Христа из мертвых: «Аще Христос не воскрес, суетна вера наша» (апостол Павел). Очевидно, ссылка эта тогда была убедительна, но теперь, когда самый факт воскресения Христа подвергается сомнению, учением о будущем воскресении и о загробной жизни вы не плените интеллигенции и не вернете ее в церковь, потому что в ее понимании Царство Небесное имеет такие же данные для уверенности в его реальном существовании, как и Магометов рай.

— Факт воскресения Христа установлен неопровержимо.

— Чем? Доказанною подлинностью Евангелия? А, скажем, чем вы гарантированы от возможности появления в какой-нибудь газете сенсационного известия о том, что такой-то путешественник-археолог, занимаясь раскопками древнего Востока, отыскал новый список Евангелия. Ведь бывало же нечто подобное. И снова, значит, искренно верующий христианин обрекается на муки сомнения, пока тот или другой апологет не сделает достаточного опровержения.

— Оспаривать все можно... Нашему разговору не предвидится конца.

— Неправда, по крайней мере, для здравомыслящего человека. Только затуманенной голове геометра нужно «доказывать», что кратчайшее расстояние между двумя точками прямая линия. В жизни это принимается без всяких доказательств, и всякий извозчик, не имеющий и понятия о геометрии, едет напрямик, когда хочет скорей добраться до места назначения. Здесь нет места ни для какого спора. Укажите в догматике одну такую аксиому, и человечество примет ее, не потребовав доказательств. В том-то и беда, что истины христианства, как бы они ни были сами по себе хороши, не имеют оправдания в жизни, текущей перед нашими глазами, и потому здесь вечный простор для всякого рода споров. Простите, я буду говорить с грубой прямоотой: вот вы, Павел Иванович, профессор, доктор богословия, в некоторой степени опора церкви и православия. Вы считаете себя истинно верующим христианином, крещены, миропомазаны, венчаны, несколько раз исповедовались и приобщались. А вот Садулла Мирзабекович — магометанин. Какая же между вами разница? Укажите хоть один признак, по которому я мог бы увидеть, что вы очищены, а он нечист, что вы возрождены, что в вас Христос, что вы действительно новый человек, новое творение во Христе, а он ветхий человек, тлеющий в похотях своих, раб дьявола. Ведь могу же я, например, видя людей, сразу

определить, что это вот интеллигент, а это неотесанный мужик. Тут же ничего подобного. В действительности передо мной два прилично одетых господина одинаковых приблизительно лет; вы мучаетесь подагрой, Садулла Мирзабекович — одышкой; у него жена и дети; у вас, простите, детей нет, а жена давно сбежала. И умрете вы оба и сгниете; вы — с надеждой попасть в небесный Иерусалим, а он — в прекрасный Магометов рай. А где, в действительности, каждый из вас очутится — никто не знает.

Студент кончил и порывисто сел. Гости, смущенные его выходкой, невольно молчали. Матушка стала усиленно просить всех выпить еще по стакану чая, а отец Григорий обратился к отцу Зосиме:

— А вы как, отец Зосима, думаете насчет сущности христианства?

Отец Зосима, добродушный старичок, не получил полного богословского образования. Он с охотой слушал богословские споры, но сам никогда не принимал в них участия. Отец Григорий предложил ему вопрос с задней целью — замять неприятный разговор.

— А я так думаю, — востропнул отец Зосима, — у нас в иерейской грамоте сказано: «Вящия же и неударассудные вины приносить и предлагати нам», то есть архиереям. Вот я и надумал пойти к нашему новому владыке, да и спросить его об этом.

— Ну и надумали, — рассмеялся доктор. — Зачем же вам владыка, когда между нами имеется такой авторитет, как Павел Иванович, профессор академии и доктор богословия? Ведь наш владыка всего — кандидат богословия, да и ту степень, по справкам, наведенным любопытными отцами, с грехом пополам получил.

— Ну, уж этого я не знаю... А по-моему, к владыке надо, — стоял на своем отец Зосима.

Доктор пожал плечами. Отец Владимир снисходительно улыбнулся детской вере отца Зосимы в авторитет владыки. Отец Григорий промолчал.

Павел Иванович вдруг вспомнил о каком-то неотложном деле, ожидавшем его, и, извинившись недосугом, заторопился домой.

Разговор не вязался, да и было уже поздно. Солнце закатилось, и начало темнеть. Гости перебросились еще несколькими фразами и, допив стаканы, распрощались с хозяевами.

Глава шестая

Дня через два по приезде нового владыки все городское духовенство получило через отцов благочинных извещение о том, что владыка вскоре будет осматривать церкви. Предписывалось церковным причтам быть на местах, владыку встречать как посетителя, то есть без трезвона и не в облачениях.

Засуетились по церквам. Везде пошла чистка, уборка. Старосты заботливо оглядывали все уголки, не осталось ли где паутины, чисто ли вымыты полы, достаточно ли ярко блестят люстра и подсвечники... Батюшки тщательно осматривали церковные документы, приводили в порядок ризницу и алтарные принадлежности. Все старались по мере своих сил. Никому не хотелось на первых же порах чем-либо вызвать неудовольствие владыки.

Только в церкви отца Герасима все оставалось по-прежнему. Прочитав извещение своего благочинного, отец Герасим заложил его в какую-то книгу и, казалось, совсем позабыл о нем. Церковный сторож Ерема, узнавший в городе от своего кума, что владыка будет посещать все церкви, сбросив свою обычную лень, прибежал было к отцу Герасиму за церковными ключами, но отец Герасим, к его великому удивлению, не дал ему ключей и вообще не сделал никакого распоряжения.

— Как же так, батюшка, — недоумевал сторож, — ведь владыка-то все будет осматривать... Надо бы хоть пыль-то посметать, полы почистить... коврик постлать...

— Не надо, — коротко ответил ему отец Герасим. Сторож ушел, пожимая плечами.

— Мне что, — ворчал он, подходя к своей сторожке возле церкви. — Тебе же нагорит... Наше дело слушать, что велят...

Перед церковью была небольшая, огороженная площадка, пересеченная широкой дорожкой. Наслоившиеся по местам кучки сора, обезобразившие площадку, укоризненно взглянули на Ерему.

— А сор-то надо бы убрать, — подумал он и, разыскав метлу и лопату, стал выкидывать с площадки сор на дорожку, откуда уже потом легче было его вывезти.

Рвение Еремы, не поддержанное отцом Герасимом, вскоре, однако, ослабело. Все реже и медленней взмахивал он своей широкой лопатой, наворачивая на дорожку кучу сора, и наконец, стукнув о землю лопатой, остановился и полез в карман за махоркой.

Из растворенного окна сторожки послышалось какое-то странное не то пение, не то жужжание. Казалось, там кто-то одновременно и плакал, и молился, и пел, и стонал, и смеялся.

— У, дьявол, опять завыла, — сердито огрызнулся Ерема, покосившись на окно, — и тут-то покою не дает. И когда только успела нализаться...

Он плюнул на землю, воткнул лопату в навороченную кучу и вышел за ограду.

Из окна продолжали литься унылые звуки...

То «выла» жена Еремы — Паскуда. Собственное имя ее было Прасковья, но вот уже лет пять, как Ерема окрестил свою жену этой кличкой, а вслед за Еремой стали звать ее так и соседи. Скоро и сама Прасковья свылась с этим, и ругательная кличка, данная ей мужем, заменила ее собственное имя.

А было время, когда Еремой Евстигнеевич — нынешний Ерема — звал свою жену Пашенькой и страстно осыпал ее жгучими ласками. Как-то незаметно и куда-то бесследно, бесповоротно кануло то время. Жизнь шутить не любит. Жизнь — страшная тайна. Кто угадает ее смысл, того дарит она счастьем, а кто легкомысленно хватает ее, того она обижает, обжигает, давит, калечит, уродует.

Молодой Еремой Евстигнеевич, любимый подмастерье хозяина и сам будущий хозяин, со своей ненаглядной Прасковьюшкой, дочкой мелкого торговца, сыграв свадьбу на господский манер, вступили в жизнь резво и шаловливо. Кутежи, попойки, постоянные

гости скоро открыли, однако, двери нужде, но с привычками трудно бороться. Трудно камешку, покотившемуся под горку, остановиться на полдороге.

Первым скатился Еремей Евстигнеевич, лишившийся места и обратившийся в вечно пьяного Ерему. За ним пошла и Прасковьюшка. Вкусные вина сменились сивухой, закуски и обеды — черствым хлебом с протухшей воблой, супружеские ласки — отборной бранью, а теплые объятия — жаркими побоями. Прасковьюшка обратилась в Паскуду. Супруги пили и дрались, дрались и пили и все быстрее и быстрее катились под горку.

Докатились до ночлежки. Тут встретились они с отцом Герасимом. Совесть пробудилась и заговорила. Батюшка взял их к себе, поселил в церковной сторожке и сделал Ерему церковным сторожем.

Ерема скоро примирился со своей участью. В душе благодарил отца Герасима за кусок хлеба и теплый уют. В глазах батюшки старался казаться исправным работником, за глазами попивал водочку, тщетно борясь с порочной привычкой.

Прасковья недели три ходила как спросонья. Потом мало-помалу втянулась в хозяйственные заботы и вдруг бросила пить. В характере ее произошла перемена. Веселая в молодости, буйная в период пьянства, Прасковья стала теперь угрюмо-молчаливой и мрачно-сосредоточенной. Видимо, в душе она переживала какую-то тяжелую борьбу. Ерема видел душевные муки жены, но не мог разобраться в них, и втайне жалел свою «Паскуду». «Уж лучше бы пила, чем этак-то мучиться», — часто говорил про себя Ерема, глядя на Прасковью.

Бывали иногда и некоторые просветы в новой жизни супругов. Чаще всего случалось это под праздник. Ерема, заперши церковь после всенощной и отдавши ключи отцу Герасиму, усаживался за стол. Прасковья, приходившая из церкви домой несколькими минутами раньше его, ставила на стол самоварчик. Сначала супруги молча пили чай, стараясь не смотреть друг на друга, но под конец разговор все-таки завязывался, и время проходило в мирной беседе. О прошлой своей жизни они старались не говорить, но иногда не выдерживали и в таких случаях, враз тяжело вздохнув, обрывали разговор грустными думами о погибшей счастливой жизни. Ерема хорошо помнил этот вечер. Им показалось даже, что для них возможна опять счастливая жизнь. В этот вечер беседа их шла особенно мирно. На столе ласково попевал свои песенки самоварчик. Горячий чай согревал, нежил усталые члены. Ерема стал вслух высказывать свои мечты о возможности новой счастливой жизни. Прасковья сначала грустно молчала, но потом вздохнула и, глядя куда-то далеко перед собой, тихо проговорила:

— Эх, кабы ребеночек был, — может быть, и вся жизнь сложилась по-иному.

Ерема понял, что она открыла ему свою заветную мечту, предмет своих тайных душевных мук, и молча потупился: он и сам порой тяжело вздыхал о том же и чувствовал, что в этом-то и кроется яд, отравляющий их супружеские отношения, но так как дело было непоправимо, то он и примирился с этим горем.

Но не могла, очевидно, примириться с такой участью Прасковья. Со времени последнего разговора с ней стало твориться что-то неладное. Сидит, сидит и вдруг заплачет, застонет, зальется слезами и забьется в судорогах. Дальше — хуже. Прасковья стала опять запивать, а пьяная начинала «завывать». Пьяные слезы переходили в истерический плач. Рыдания мешались с диким хохотом, прерывавшимся тихим разговором, переходившим в пение.

Все вместе сливалось в какой-то душу надрывающий вой. Припадки длились час, а иногда и два. Затем Прасковья стихала и мрачная, темная принималась за домашнюю работу.

По первоначально Ерема, увидя пьяные слезы жены, пытался было утешить ее, но в ответ услышал целый поток отборнейших слов из ругательного лексикона ночлежки. Ерема отступился и после этого спешил только куда-нибудь скрыться, когда с женой начинался припадок. Местом утешения чаще всего служил стоящий вблизи трактирчик. Ища здесь утешения, Ерема увеличивал обычную порцию выпивки, высыпался под столом, но, проспавшись, старался привести себя в порядок и спешил поскорее показаться на глаза отцу Герасиму. Если батюшка бывал в ограде, Ерема хватался трясущимися руками за лопату и с двойным усердием принимался часто за совершенно бесцельное копанье. Время от времени он робко взглядывал на отца Герасима и успокаивался только тогда, когда уверялся, что батюшка и на сей раз не прогонит его и не лишит места.

Для церковного сторожа Ерема, конечно, мало годился, но отец Герасим и не требовал многого. А церковный староста, видя равнодушие к церкви отца Герасима, давно махнул на все рукой.

Известие о том, что церковь посетит владыка, взволновало было Ерему. У него явилось чистосердечное желание навести в церкви чистоту, но непонятное равнодушие отца Герасима и вой Прасковьи скоро расхолодили этот порыв, и куча сора, навороченная в ограде на дорожке, с воткнутой в нее лопатой, так и осталась лежать в ожидании приезда архиерея.

Глава седьмая

Наступил назначенный для архиерейской ревизии день. Дела, видно, задержали владыку. Только в полдень из ворот архиерейского дома выехала карета и покатила по улицам города.

Преосвященный, видимо, спешил с осмотром церквей. Карета его быстро подкатывала к одной церкви, но останавливалась на несколько минут и спешила уже к другой.

Молва, однако, успевала опережать архиерейский экипаж.

В церквях, ожидавших архиерея, знали уже, что сказал владыка в такой-то церкви, как отнесся к членам причта, что похвалил или, наоборот, чем остался недоволен.

Чутко прислушивался к отголоскам молвы об архиерейском посещении отец Григорий, настоятель Вознесенской церкви, стоя в алтаре в ожидании владыки.

Отец Григорий был живой, впечатлительный человек. Давно уже следил он за ходом церковной жизни не только в епархии, но и вообще в России. Видел недочеты и болел душой о них и часто, стоя перед престолом Божиим, тайно молился о том, чтобы Господь послал им архипастыря по сердцу своему.

И первое впечатление, вынесенное при встрече нового владыки, и теперь долетавшие отзвуки о нем говорили отцу Григорию, что тайная молитва его услышана.

Радостно переходил отец Григорий в алтаре от окна к окну, от престола к жертвеннику и все более и более волновался; время от времени порывисто крестился, но сосредоточиться

на молитве не мог; сердце билось усиленно, а в голове у него разными перепевами бесчисленно повторяясь, проносились все одни и те же по непонятной причине вспомнившиеся слова церковного тропаря «Дай дождь земле жаждущей, Спасе».

Но дождаться владыки в этот день отцу Григорию не было суждено.

От Предтеченской церкви дорога подымалась в гору и выходила на небольшую площадку, откуда, как на ладони, видна была большая часть города. Выехав на эту площадку, владыка окинул город быстрым взглядом. Вдали он увидел покосившийся крест на почерневшем куполе и, стукнув в оконце кареты, велел повернуть и ехать к той церкви.

Это была церковь отца Герасима.

Прежние архиереи никогда не заглядывали сюда, и отец Герасим мало имел надежды видеть у себя нового архиерея, но все же он счел своим долгом исполнить предписание благочинного.

Равнодушно перешагнув через кучу сора, наваленную Еремой на дорожке, отец Герасим отпер церковь и стал на паперти, лицом к улице, на которой должна была появиться карета владыки.

К его удивлению, ждать пришлось недолго. Архиерейская карета уже катила по улице. Через несколько минут она остановилась у церковной ограды. Дверца кареты раскрылась, и оттуда показался владыка. Быстрой походкой направился он к церкви, с удивлением взглянул на кучу сора, обогнул ее, поднялся на паперть, благословил отца Герасима и, войдя в церковь, остановился у входа.

Неприветливо взглянули на владыку церковные своды. Отвалившаяся местами штукатурка зияла на них ранами. Их низкие изгибы потемнели от времени и пыли. Потемнели и углы от паутины, и при виде такого запустения потемнело лицо у владыки. Он сделал несколько шагов вперед и остановился перед иконостасом. Из-под налета пыли глянули на него лики святых.

Владыка перекрестился и вошел в алтарь. Отец Герасим остановился у амвона.

Алтарь выглядел еще неприветливее. Потускневшее окно слабо пропускало свет. Пыль покрывала даже святой престол, ризница состояла из нескольких поношенных облачений.

Осмотрев алтарь, владыка вышел на амвон, окинул еще раз общим взглядом церковь и, молча, вопросительно посмотрел на отца Герасима.

Тихо взглянул на владыку и отец Герасим...

Прошло несколько минут молчания...

Владыка продолжал смотреть на отца Герасима, на его поношенную, местами залатанную рясу, на сгорбившуюся спину, на поседевшую голову, на его еще молодое, но уже изрытое морщинами лицо, на тусклые глаза, на впалую грудь, на исхудавшие сухие руки... В глазах владыки отразилась дума. Вдруг он повернулся к алтарю, широким крестом помолится перед Царскими вратами и быстро пошел из церкви...

— Пойдемте, — сказал он, проходя мимо отца Герасима. Отец Герасим запер церковь и направился за архиереем.

Дойдя до кареты, владыка отдал приказание кучеру ехать домой одному и распрячь лошадей, а затем, повернувшись к отцу Герасиму, сказал:

— Мне нужно с вами поговорить и очень много... Пойдемте к вам на квартиру.

— Но, владыка, — смешался отец Герасим, с изумлением глядя на архиерея, — туда... нельзя... там... У меня нет квартиры.

— Как нет? А где же вы живете?

— То есть, квартира есть... но...

Отец Герасим совсем смутился, замолчал и потупился. Краска бросилась ему в лицо. Вдруг он выпрямился, как-то загадочно метнул глазами и, видно на что-то решившись, резко проговорил:

— Пожалуйста, Ваше Преосвященство.

* * *

Когда человеку случится быть раненым, он спешит к доктору, охотно раскрывает перед ним свою рану и терпеливо выносит ту боль, которую невольно причиняет ему доктор, тревожа рану своим осмотром. Человек позволяет тревожить рану, так как надеется, что после осмотра получит облегчение. Другое дело, когда ранами бывает покрыто все тело, когда нестерпимая, невыносимая, мучительная боль охватывает все существо. Тогда больной не дается осмотру, он уверен, что ему уже ничто не поможет, он отталкивает врача и в ответ на его старания оказать помощь, раздирающим душу голосом, корчась от мук, кричит в смертельном ужасе: «Ах, оставьте меня; ради Бога оставьте, не мучьте, дайте спокойно умереть».

Получив первые душевные раны, молодой и неопытный батюшка отец Герасим кинулся было к своему архипастырю, надеясь найти в нем себе врача; горький опыт раскрыл ему глаза; он понял, что нигде не найдет себе врача, и с тех пор никому уже больше не показывал своих ран и никому не позволял дотронуться до них.

Вопросительный взгляд владыки в церкви, брошенный на отца Герасима, и его желание поговорить с ним в его квартире, очевидно, наедине, дали понять отцу Герасиму, что от внимания владыки не ускользнуло его душевное настроение. Только недальновидный начальник, увидев запустение церкви, стал бы тут же делать ему выговор, чему отец Герасим был бы очень рад, так как это давало ему возможность сохранить неприкосновенным свое «Святое Святых». Новый владыка был проницателен: он увидел, всмотревшись в отца Герасима, что не лень и не преступное нерадение служат здесь причиной такого запустения в церкви. Он догадался, что это — отражение какой-то неизвестной ему душевной драмы, пережитой настоятелем. И он захотел заглянуть в глубь того, на что давала неясный намек церковная обстановка.

До ран отца Герасима хотели дотронуться, и хотел дотронуться человек, власть имеющий. Оттолкнуть его отец Герасим не мог. Так пусть же он увидит его раны и, ужаснувшись, сам убежит от него, оставив его умирать спокойно...

* * *

Вступив за порог квартиры отца Герасима, владыка не обнаружил никакого удивления. Казалось, он ожидал, что она и должна быть именно такой.

Было темно. Отец Герасим зажег лампу и подал владыке стул.

Слабый свет лампы не разогнал темноты, он только спугнул ее: теньевые полосы, как ночные призраки, задрожали, заметались по комнате и, разбежавшись во все стороны, притаились по углам. Водворилась тишина. Отец Герасим слышал, как нервная дрожь охватила все члены его тела, как в голове закопошились все его многолетние страдальческие думы, и в воображении замелькали одна за другой картины пережитой жизни... Слова готовы были хлынуть у него потоком, но он молчал и ждал вопроса владыки.

— Лицо — зеркало души человека, — ровным и спокойным голосом начал владыка. — На вашем лице я прочел, что причиной такой заброшенности не может служить лень или нерадение, здесь какая-то более глубокая причина, пока неясная для меня. Кое о чем я, впрочем, догадываюсь, но все-таки хочется мне, чтобы вы сами разъяснили все. Знал я, что в двух-трех словах этого нельзя сделать, поэтому я отпустил свою карету. Не торопитесь. Временем располагайте по своему усмотрению, а главное, забудьте, что перед вами начальник, и только помните, что видите перед собой епископа, строителя тайн Божиих, Божиего и вашего слугу...

— Знаю, — резко оборвал отец Герасим, — в противном случае я не впустил бы вас сюда. — И вдруг то, что накопилось в душе отца Герасима за десятки лет прожитой жизни, прорвалось...

Начал он сбивчиво, торопливо, постоянно повторяясь, перескакивая. Он волновался, и это мешало последовательному ходу мыслей, правильному течению рассказа. Но по мере того, как он углублялся в свои воспоминания, голос его становился ровней. Речь потекла свободней.

Ярко и картинно обрисовал отец Герасим впечатления своего детства. Ясно изложил свои юношеские мечты на семинарской скамье. С увлекательным пылом передал свои заветные идеалы, с которыми выступил в жизнь, но когда он дошел до рассказа о первых шагах своего служения, голос его дрогнул. И дальше, несмотря на все усилия, отец Герасим уже не смог совладать с собой. С ним начался пароксизм нервной лихорадки. Руки его дрожали, туловище тряслось, лицо передергивалось по временам судорогой. Речь его то и дело обрывалась.

Владыка сидел, закрыв лицо рукой, и молча, глубоко сосредоточенно слушал.

Когда отец Герасим в своем рассказе дошел до того места, как открылись его глаза, и он «прозрел язву» человечества, он вскочил и порывисто зашагал по комнате. Спазмы душили его горло; прорывались сдерживаемые рыдания.

Свой душевный разлад, свои последующие муки сомнения в существовании Бога и промысла отец Герасим передавал уже отрывочными фразами. Жутко было слушать его. Это был бред сумасшедшего, тяжелые вопли кощунника.

Рассказ свой отец Герасим скорее оборвал, чем кончил. И не вздохом, а каким-то глухим стоном вырвался из его груди воздух, задерживавшийся там порывистым неровным дыханием.

Круто повернувшись, он остановился перед епископом и впился в него своим взглядом. Глаза его были полны безумного ужаса.

— Господи, спаси нас и помилуй! — содрогаясь, промолвил владыка. — Отец Герасим! Вы успокойтесь... сядьте... выслушайте меня...

— Вас? Выслушать... Зачем? — дико захохотал отец Герасим. — Вы будете доказывать мне бытие Бога, утешать надеждами на будущее, на будущую жизнь, сулить мне рай... О, прокляты пусть будут те, кто может наслаждаться раем под вой и стоны несчастных страдальцев на земле, под скрежет зубов безумных грешников в аду. Пусть блаженствует, кто может. Я не могу. Я не хочу такого рая...

Это был последний крик наболевшей души. Отец Герасим не выдержал. Он упал на стул и, схватившись обеими руками за голову, глухо зарыдал.

Владыка встал и прошелся по комнате. Дойдя до переднего угла, в котором висела икона, он несколько раз перекрестился. Прошелся опять по комнате в глубоком раздумье и, наконец, остановился около отца Герасима. Молча трижды перекрестил его и, положив свою руку ему на плечо, правой крепко прижал к своей груди его голову.

Так когда-то давно ласкала отца Герасима его бедная горячо любимая им мать, когда ее Гераська, приезжая из духовного училища на каникулы, не выдерживал при свидании и заливался слезами, рассказывая о невзгодах ученической жизни. Никогда ничего не говорила ему в ответ, только крепче и крепче прижимала к своей груди его голову и все чаще и чаще гладила его рукой. Тепло материнской ласки скоро осушало Герасимовы слезы, и минут через десять он бегал уже по селу, резвый, веселый, счастливый. Давно это было. Теперь отец Герасим сам многих отогревал, но собственного сердца ему некому было отогреть, и суровая жизнь, обвеявая его пронизывающим холодом, успела задернуть его грудь ледяным покрывом.

Ласка владыки напомнила отцу Герасиму детство и мать. В груди ощутилось давно уже позабытое чувство сердечной теплоты. Лед растаял.

Отец Герасим схватил руку владыки и несколько раз горячо поцеловал ее.

— Ну вот, так-то лучше, — промолвил владыка, поняв этот душевный порыв отца Герасима. — А теперь вы все-таки выслушайте меня... Вы не угадали... Раем я вас утешать не буду: я там не был, и что там делается, я не знаю. И не будем говорить о том, чего лично не знаем. Поговорим о том, что видели, и видят, и могут видеть наши глаза...

Владыка опустил руки, прошелся опять по комнате, как бы собираясь с мыслями, и затем, присев на стул, начал:

— Вы пришли к такому безотрадному состоянию потому, что увидели страдания отдельных людей, обобщили их и ужаснулись бездне несчастий, постигающих человечество; «прозрели», как вы говорите, «язву» человечества и от сознания своего бессилия в борьбе с ней впали в отчаяние...

— Да, Владыка. И вы будете мне говорить теперь, что нельзя делать такого обобщения, что это — игра болезненного воображения... Что от страданий отдельных лиц не погибнет человечество...

— Совсем не то... Наоборот: я вам хочу сказать, что вы, считающий себя прозревшим «язву», разъедающую человечество, в действительности не постигли и сотой доли ее... Что вы увидели? Пьяницу–ночлежника, заживо изъеденного сифилисом, заживо сгнившего и умершего в болоте собственной блевотины. Это был самый наглядный пример в вашей жизни. «Язва» была у вас перед глазами, вы видели ее разъедающее действие, обоняли ее зловоние и поняли, насколько грязен, смраден, гнил и нечист человек. От трупа пьяницы вы перешли к остальным ночлежникам и на их лицах увидели тоже «печать язвы», то есть провалившиеся кой у кого носы, подозрительные пятна, сыпи и тому подобное. Вспомнили, сколько таких ночлежек и всяких притонов, включая и публичные дома, рассыпано по лицу земли, подсчитали, приблизительно, число находящихся в них и... ужаснулись. Слишком рано... ведь не одних подонков общества, его отбросы, разъедает сифилис... Вы найдете целые села и деревни во всех почти государствах света, сплошь зараженные этой болезнью. Включите их в ваше число. Далее, присмотритесь к «чистому» обществу, не найдете ли вы и здесь под бархатом и шелком, прикрытую белоснежным бельем, печать все той же язвы. Перекиньтесь мыслью на водные, кумысолечебные и всякие другие курорты: там эти больные составляют добрую половину, а ведь все из высшего общества. Подсчитайте и этих. Затем, ведь не один сифилис подкашивает человека. Чума, проказа, тиф, холера, чахотка... Доктор затруднится перечислить вам все существовавшие и теперь существующие болезни. Язва, разъедающая человечество, многообразна и всеобща. Число жертв ее равняется числу людей, живущих на земле. Печать ее на каждом человеке. Она и на опухшем лице довольного толстяка, и на бледном, угриватом лице малокровного юноши, и на тоненькой изящной фигурке худосочной девицы. Она на простецах и монахах, на священниках и на мирянах, на царях и на солдатах, на детях и на взрослых. Не существовало еще и не будет существовать никогда такого человека, на котором бы ее не было, она на всех. Она на вас, она на мне...

— На вас–то, Владыка, какая язва! — с недоумением спросил отец Герасим, глядя на крепкую, статную фигуру епископа, на его чистое, с легким румянцем, пробивавшимся сквозь слегка загоревшую кожу, красивое и светлое лицо.

— Вот в том–то и беда наша, что мы не видим этого. Пораженные язвой наши чувства, которыми мы познаем внешний внутренний мир, притупились. Мы не видим язвы, мы не слышим ее смрада... Только тогда, когда человек сляжет на смертный одр и испустит свой последний вздох, когда язва охватит, проступит, разъест и разложит человека окончательно, когда превратит она его в то, что мы называем трупом, только тогда наши отупевшие органы чувств прозревают язву человека, и мы бежим от него, затыкая нос от страшного, смрадного трупного запаха... Да! Только тогда мы обоняем запах смерти...

Запах язвы, запах смерти многообразен, как многообразна сама язва, но в сущности–то он один и тот же. С этим запахом каждый человек рождается в свет. Акушеркам и докторам хорошо известен запах от роженицы и от новорожденного на свет ребенка.

С запахом язвы человек ходит и всю свою жизнь... Вы не слышите от меня этого запаха? И от многих тоже не услышите. Почему? Потому, что ежедневными умываниями, всякими омываниями, купанием, банями, обтираниями, проветриванием одежды и тела свежим воздухом или солнечными лучами, затем втираниями душистых мазей, ароматом

всевозможных изделий парфюмерии, люди добиваются того, что заглушают природный запах своего тела, или, вернее, этой именно язвы. Потому и не замечают ее.

Да! Человек смердит... Возьмите самых здоровых, чистых людей, человек десять, продержите несколько времени в маленькой комнате, и вы увидите, как эти чистые люди своим дыханием, испарениями и излучениями своего тела испортят воздух... Продержите их подольше, и от душного, тяжелого, смрадного воздуха вы начнете задыхаться. Или возьмите любую обладательницу чистого, белого, румяного девственного тела; Отберите от нее всю парфюмерию. Пусть она месяца три–четыре не оmyвается, не переменяет белья, не ходит в баню, не купается и так далее. И вы услышите от нее тот же тяжелый запах язвы...

Человек живет в атмосфере «язвы». Ею он дышит. Ее запахом смердит его дыхание. Вы знаете, как пахнет у людей изо рта. Вы отличите этот запах от множества других, которые зависят от качества принятой пищи; у некоторых он настолько смраден, что нарушает любовное, согласное сожителство супругов.

Обширно царство язвы, и не один только человек раб ее. Болеет, гниет, разлагается, тлеет и смердит не одно человечество. Тому же подвержены и звери, птицы, и насекомые. «Вся тварь, — по слову апостола Павла, — стонает и мучается» (Рим. 8, 22). И все от той же язвы. Ее печать и на неодушевленной природе. Смердит порой воздух, смердит и гниет вода, тлеют и разлагаются растения и, разлагаясь, меняют аромат цветов на запах плесени и гнили. Это все тот же смертный запах все той же язвы. Она вселенская... Она в земле и на земле. Ее соки попадают в цветы, с которых пчелы собирают мед. Последний, в таких случаях, является отравой человеку...

* * *

Тут владыка встал, прошелся несколько раз по комнате и снова сел. Глубоко сосредоточенно следивший за полетом мысли владыки отец Герасим сидел неподвижно и молча, заинтересовавшись теми широкими обобщениями, по-видимому, самых разнообразных явлений в мире, которые делал епископ, и чем дальше говорил он, тем более и более удивлялся ему отец Герасим. Не таких речей он ждал от архиерея. Он предполагал, что умный и несомненно добрый владыка, как сам искренне верующий, начнет и его утешать обычно употребляемыми в таких случаях общими речами, уснащенными текстами Священного Писания, с бесконечными вариациями все одной и той же темы о смирении, о терпении, о молитве. На такое утешение у отца Герасима был уже готов ответ. Этот ответ был соткан из горьких фактов жизни, из тех мучительных противоречий между словом и делом, которые чаще всего бывают у лиц, говорящих «от Священного Писания». Порешив не щадить себя, отец Герасим намеревался тоже без пощады бросить этот желчный и ядовитый ответ в лицо архиерею. К его удивлению, владыка не подавал к тому никакого повода. В его словах совсем не видно было утешения, и речь его была настолько нова и необычайна для архиерея, что отец Герасим забыл о своем ответе и с еще большей сосредоточенностью стал следить за ходом мыслей владыки, стараясь предугадать вывод. Но из сказанного еще нельзя было предугадать никакого вывода, и отец Герасим ждал продолжения разговора. Владыка не замедлил. Лишь немного передохнув, он снова начал:

— Человек состоит из души и тела. Так выражаются по-общепринятому. В действительности, мы видим других и сознаем себя как единое несоставное существо, которому имя ЧЕЛОВЕК. Он и не тело, и не дух. Он то и другое вместе. Но не как две составные части. Тут тайна, еще не раскрытая умом людей. Только в теории, в уме, можно

делить человека на душу и тело. В действительности они так же неотделимы, как неотделим кусок говядины от тела кошки, проглотившей и переварившей его. Указать в действительности, где у человека кончается тело и начинается душа, невозможно... Тут два начала — материя и дух — соединились, и плод их взаимодействия есть человек. И «язва» тоже тут не разделилась, и плод ее работы на духовной стороне человека есть обратная сторона человеческой культуры. Представьте себе в одной общей картине все произведения человеческого духа, приглядитесь внимательно, и вы заметите на них печать «язвы». И в этой сфере она тоже все душит, мертвит и разлагает. Тут она еще более многообразна и бесчисленна, но так же мало исследована. Прозревая ее, апостол Иоанн говорит: «Все в мире похоть плоти, похоть очес и гордость житейская» (Ин. 2, 16). Она причиной внезапного упадка таланта у писателей. Она виновница неудачного правления царей. Она враг всякой радости и счастья. Непонятно? Возьмем пример. Вот вы перед министром с проектом какого-нибудь хорошего дела. Министра знаете вы как человека доброго, отзывчивого, приветливого в обращении. Заметив у вас добрую мысль, он поддержит ее, и выйдет в результате доброе дело. Но придите к этому министру, когда он не выспался или не переварил обеда, или когда он страдает катаром желудка и так далее, и он встретит вас брюзжанием, ничего хорошего в вас не найдет и своим гнилым словом убьет благую вашу мысль. И язву свою передаст вам. Поговорив с ним в такую минуту, вы тоже выйдете от него раздражительным и мрачным. Все пессимисты в мире, в сущности, больные люди. Их мрачные теории суть не что иное, как результат тех или других ненормальностей в отправлениях организма. Стонет, страдает народ в государстве, расстроилось его политико-экономическое положение, — ищите причину в ненормальностях мозговых функций в головах правителей или даже в их желудочных расстройствах. Если получше послушаете какую-нибудь музыкальную пьесу, и после нее вам станет тоскливо, грустно, или вы ощутите в себе какое-то смутное чувство неудовлетворенности, туманного порыва в даль, знайте, что это печать «язвы», наложенной на пьесу ее автором, пораженным уже «язвой». Тоскливая, заунывная песня русского мужика — результат постоянного недоедания и частых голодовок с их спутниками — всякими болезнями.

То же в литературе и искусствах... Музыкальные произведения для танцев отличаются веселостью. Они назначены ведь для веселья, но загляните в историю происхождения тех меланхолических вальсов, от которых молодежи не танцевать хочется, а плакать. Это в большинстве случаев произведения чахоточных авторов, в минуты своего творчества харкавших кровью.

Преступники-рецидивисты — дети родителей, изъеденных все той же язвой. Тут действует один из ее бесчисленных когтей, которыми она терзает человечество. Этот коготь известен под названием алкоголя. А таких ядов, убивающих в человеке жизнь, много. Большая часть их еще науке не известна. И все они всё та же «язва»...

Работа «язвы» доступна наблюдению. Возьмите мысленно бойкого ученика — талантливого юношу, удивляющего своих родителей и школьное начальство своими блестящими успехами, стараниями, прилежанием, добрыми наклонностями. Лишите этого ученика свежего воздуха: пусть наживает себе он, допустим, малокровие; расстройте его половые отправления, и вы увидите, как отупеет его ум, ослабнет память, зачахнет воля. Через большой или меньший период времени он обратится в тупоголового лентяя, а несколько шагов дальше, и в преступника... И тут все эти двойки и единицы по успехам и по поведению — печать все той же «язвы».

«Язвой» поражен самый родник бытия. Здоровый инстинкт размножения — заповедь «плодитесь и размножайтесь» — положенный в основу счастья семейной жизни, изъеден

«язвой». И семейная жизнь обратилась для человека в ад. Тут работа «язвы» наиболее планомерна. Тут, например, если в предыдущих поколениях прадедов, дедов и отцов поражена была преимущественно физическая, телесная природа, в последующих поколениях отцов, сынов и внуков следуют аборт и выкидыши, недоноски, а иногда и совсем иссякает родник: получают бездетные родители. Если же в предыдущих поколениях поражается преимущественно духовная сторона, получают неврастеники, психопаты, сумасшедшие, эпилептики, маньяки, идиоты, уроды, вроде сямских близнецов, временами прямо—таки чудовища, которых уже нельзя назвать и человеком. На них смотрит человек и в безотчетном ужасе, бледнея, отступает...

Как имя этой «язве»? — Имени ей нет. Она известна людям под тысячами названий, но имени, которое определяло бы ее сущность, нет. Ее проявление в человеке люди называют болезнями, пороком. Ее переживание — страданиями, мучением, слезами, горем, воплями и стоном людей. Продукт работы ее в мире зовут нечистотой, гноем, тинной, гнилью, скверной. Отражение на экономической жизни человека — нищетой и беднотой. Присутствие ее в воздухе, воде и пище зовется заразой, ядом, вообще тем, что вредно человеку. В сфере деятельности мыслей, чувств и воли человека ее проявления зовутся грехами, нечестием, заблуждением, беззаконием, преступлением, ошибками и в переносном смысле — мраком, тенью, смертной, мертвой спячкой. Цель ее работы — уничтожение всего живущего на свете и окончательное распадение, разложение вселенной. Результат ее работы в людях и животных наименован вырождением, а последний акт этой работы люди назвали смертью. Сама же она остается безымянной. Может быть, будущие поколения людей проникнут в тайну «язвы», постигнут ее сущность и дадут ей имя, а теперь, когда, нащупывая в себе мысль о ней, люди желают назвать ее общим именем, то они употребляют в таких случаях слово: зло.

Так вот на борьбу с каким врагом вы выступили... Не один вы... С ним борются во всеоружии науки доктора. Бой идет с ним по всему лицу земному. В каждом городе, а теперь почти и во всех селах имеются склады оружия — аптеки. Больницы, клиники, лечебницы, госпитали — главная арена боя. Борются с ним правители, законодатели, судьи, философы, ученые и мудрецы, писатели, художники, поэты. Есть тысячи и миллионы рядовых борцов, сплотившихся в кружки, общины, братства. Существует целая армия спасения... Спасут ли они человечество от этого врага? Ответить на это можете и вы, и всякий человек, если обратите внимание на то, каким оружием борются люди с этим врагом.

У правителя и судьи орудие борьбы — закон. Он говорит человеку: «Не делай этого, а делай то—то и то—то». И когда человек делает не то, что велит закон, он карает, бьет и вяжет человека. Но в результате измученные и избитые законом люди кричат одно ему в ответ: «И рады делать, но не можем». Из всех законов наилучший — закон, данный Богом, но и этим законом только «познается грех» (Рим. 3, 20), то есть если человек поражен «язвой» уже настолько, что собственная совесть ему уже не может указать, что есть в нем дурного и хорошего, что есть зло и что — добро, то тогда является ему на помощь писанный закон, который человек может прочитать и из прочитанного узнать, что — зло, и что — добро. Но и об этом законе апостол Павел сказал, что он «бессилен, будучи ослаблен плотью» (Рим. 8, 3), то есть «язва» уже настолько разъела человека, что он уже не может делать того, что требует закон. И тот же апостол о себе сказал: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Рим. 7, 19)... Это было сказано почти две тысячи лет тому назад, но только теперь, да и то не вполне, общество сознало, что все преступники, в сущности, больные люди.

Философы, ученые, мудрецы хотят проникнуть в тайну язвы, постичь врага и открыть глаза человеку. Это разведчики на поле битвы. Но тщетны их усилия. Пораженный язвой ум человеческий скоро устает в борьбе и часто заблуждается, повторяя в новой форме свои прежние ошибки. Да если бы ему и удалось узнать врага, он услышал бы от человечества один ответ: «Мало знать врага: нужно уметь и победить его».

Что делают писатели, художники, поэты? Это — вдохновители борцов. Прозревая царство язвы, они видят, что душно, смрадно стало на земле, что человек задыхается в атмосфере язвы, и, чтобы спасти его, рисуют ему идеалы новой жизни, иного бытия из царства света, истины, любви, свободы, красоты и силы, будят и манят к этим идеалам человечество, но обезволенные люди, просыпаясь на минуты от мертвой спячки, могут лишь сознавать, как глубоко засосало их болото язвы и, чувствуя свое бессилие, отвечают все одним и тем же словом: «Не можем». Сколько ни вдохновляй солдата на войне, он не возьмет ружья, если у него обе руки в параличе...

В бессилии слова вы, отец Герасим, убедились сами в своей борьбе с пороками ночлежников. Вы слово бросили и принялись за медицину, сделались врачом. Да, это орудие наиболее действенное. Еще на грани зачинавшихся веков человек подметил в самой же природе силы, враждебные язве, и стал пользоваться ими, проще говоря, стал лечиться. Сначала каждый себя самого, потом явились специалисты, всякие знахари, уступившие со временем свое искусство врачебной науке, а свое место — докторам. Первый успех опьяняет человека, а тут первый успех был вместе с крупным успехом. Человек выступил на борьбу с царством язвы, так сказать, вися на воздухе и с завязанными глазами. Теперь он нащупал у себя под ногами почву. У него явилось сознание возможности не только вести борьбу, но и одержать победу. Пошли толки о «живой воде», о «жизненном эликсире», о «философском камне» и так далее. Юные пионеры естественных наук с пылом брались за спасение человека и горячо убеждали его, что это вполне возможная вещь, и если они сейчас этого не могут сделать, то только потому, что наука еще в зачаточном состоянии, что природа еще не изучена, но с развитием науки какой-нибудь гений несомненно преподнесет человечеству что-то такое, вроде живой воды, что даст одряхлевшему, исхудавшему, обессиленному человеку жизненные силы, и человечество заблещет могущественным здоровьем, неувядаемой красотой, божественным разумом и станет бессмертным.

Когда в науке стал преобладать экспериментальный метод, она отказалась от своих утопий и поняла — все, что она может сделать для человека, это — поддержать жизнь в человеке. А самой жизни она дать не может. Человек рождается с известным запасом жизненных сил, который и расходует на протяжении того или другого срока. Израсходует человек все свои жизненные силы и умирает. Он может их растратить быстро и погибнуть во цвете лет или даже не успевши расцвести, но может, относясь к ним экономно, бережливо, продлить свой век. Вот тут-то и может оказать ему существенную пользу медицина. Соблюдая правила гигиены и пользуясь успехами гигиены и услугами фармакологии, человек отстраняет от себя то, что губит его силы, и тем увеличивает срок своего пребывания на земле. Имеется у вас, допустим, шуба. Вы можете предохранить ее от моли, бережно ее носить, своевременно зашить расползающийся шов, положить заплату на дыру и проносить ее, таким образом, всю свою жизнь и даже передать в наследство сыну. Но износившуюся все-таки в конце концов шубу вы не можете же сделать новой, и ничего не можете вы сделать для того, чтобы ваша шуба не изнашивалась, а, наоборот, с каждым годом становилась все крепче и новее. Точь-в-точь то же и в медицине: вся работа докторов, в сущности, есть не что иное, как предохранение от моли и накладывание швов и заплат на ветшающую телесную оболочку человеческого духа. В битве с «язвой» эти борцы отстаивают человека, выхватывают на время из ее

когтей жертвы, но сама «язва» остается неуязвимой. И человечество ветшает все более и более.

Глава восьмая

С тяжелой думой владыка опустил голову; на его лицо упала тень от клобука. И без того слабый свет лампы тускнел, очевидно, от недостатка керосина.

Отец Герасим встал, подлил керосина и поднял фитиль.

— Так вот догорала и жизнь в человечестве, — сказал владыка, когда отец Герасим, поправив лампу, сел опять на свое место, — по библейскому сказанию, жизнь первых поколений людей считалась сотнями лет: многие из них немного не дотягивали до полной тысячи. Человек тогда был живуч. Этому не противоречат и естественные науки. Царство «язвы», очевидно, тогда было необширно и несильно. Но вот уже во времена Ноя жизнь людей сократилась до 120 лет. Это был максимальный срок жизни человека. Царство «язвы» распространилось, стало могучим, и засмердела вся земля. Вселенной угрожала гибель. Рушилось все живое, растлевалось. Жизненные силы оскудевали. Люди стали вырождаться. Венец творения, свободный царь природы, человек — это чудное существо, происшедшее от соединения двух могучих начал — материи и духа, — постепенно опустился до степени животного и мог совсем исчезнуть, выродиться, как выродились и исчезли, например, с лица земли мамонты...

Когда где-нибудь появится холера, стремятся скорее уничтожить заразу. Сжигают постель, вещи, оставшиеся от больных, проветривают помещение, чистят, промывают белье, одежду. Огнем, водой и всякими антисептическими средствами стараются поразить и уничтожить носителей заразы...

Точь-в-точь то же самое случилось в мире в момент, о котором говорим. Водами страшного всемирного потопа была очищена вся земля. Это была мировая чистка, всемирная дезинфекция, произведенная не человеком. Все, изъеденное заразой, было уничтожено. Пропитанная заразой земная поверхность была омыта и вновь покрыта плодородным илом. Но... «язва» не была истреблена. Она ведь была и в Ное, и в членах его семейства, и в посаженных на ковчег животных... Она была только ослаблена...

Бережливая хозяйка, просматривая какое-нибудь дорогое платье из своего приданого и видя, что оно попортилось от времени, кое-где полиняло, а местами и прогнило, берет ножницы, распарывает платье, обрезает гнилые места и, выбрав куски, которые покрепче, сшивает из них новый костюмчик для своей дочери. Из платья выходит платьице.

Из мощных тысячелетних титанов, из «этих сильных издревле славных людей», дерзавших в гордости своей бороться с небом, выкроен был послепотопный человек, в сто двадцать лет уже сходящий в могилу. Правда, сам Ной прожил 950 лет. Это был самый крепкий, менее поврежденный кусок материи, из которой соткано человечество. Потому он и был сохранен. Но после Ноя число дней жизни человека быстро падает. И 120-летние становятся уже исключением. Уже царь Давид максимум человеческой жизни определяет 70–80-ю годами, да и из этого числа, говорит он, большинство лет составляют годы бесплодного труда, болезней, мук. Человек не столько жил, сколько мучился, страдал.

Мы не знаем, но можем догадаться, до какого состояния дошли тогда люди: не те, которые стали строить города, сплачиваться в государства и оставили после себя следы культуры, как, например, евреи, греки, римляне и другие, а те, которые разбрелись после

вавилонского столпотворения по всему лицу земному, поселились в пещерах, в лесах, ущельях гор, и даже имена которых остались неизвестными. Если и в городах человек дошел до скотского состояния — пример Содомы и Гоморры, — то что же стало с теми, которые жили на лоне природы и, как истые дети природы, руководились только законами животной жизни?

Вы слышали, конечно, про Дарвина. По его теории человек произошел от обезьяны. Но ведь эту гипотезу можно мыслить и в обратном порядке: обезьяна произошла от человека. «Какая-нибудь человекообразная обезьяна, — говорят ученые, — в период изменчивости специфических свойств своих народила детей, снабженных новыми признаками. Аномально большой мозг, заключенный в объемистом черепе, позволил быстро развиться умственным способностям, более мощным, чем у родителей. Эта особенность должна была быть переданной потомству, и так как она имела очень большое значение в борьбе за существование, то новая раса должна была установиться и стать преобладающей. Умственное развитие вызвало усовершенствование пищи. Звериные челюсти оказались излишними, также и цепкие лапы. Их заменили обыкновенные наши зубы, руки, ноги. Получился человек». Так говорят ученые.

А я говорю, что все это могло произойти и в обратном порядке: какая-нибудь зверообразная человеческая чета, в период изменчивости специфических свойств своих, народила детей, утративших что-либо из человеческих свойств. Ненормально развитый мозг, заключенный в неправильно развившемся черепе, не позволил развиться умственным способностям. Этот недостаток должен был быть переданным потомству: и так как он имел большое значение в борьбе за существование, то получилась новая низшая раса, которая, не будучи в состоянии конкурировать с людьми, бежала в леса, где вынуждена была питаться грубой пищей и спасаться на деревьях, благодаря чему у людей развились звериные челюсти, а руки и ноги превратились в цепкие лапы. Получилась обезьяна...

Говорят, человечество прогрессирует. А по-моему, всю жизнь человечества на всем протяжении прожитых им тысячелетий нужно представлять движущейся по двум ломаным линиям, которые выходят из одной точки, но затем расходятся, — одна, извиваясь и уходя в пространство, постепенно повышается, — другая, тоже образуя то большие, то меньшие колена, постепенно понижается.

Адам — исходная точка. Происшедшее от него и размножившееся человечество в лице одних стремилось к лучшему, к совершенству, двигалось по восходящей линии, в лице других — не искало ничего, кроме широкого и полного удовлетворения своих инстинктов, а потому, за невозможностью остановиться на точке замерзания, опускалось ниже и ниже, образуя нисходящую линию.

Больше всего приложили стараний, если можно так выразиться, к улучшению и усовершенствованию породы человека — греки. Они заботились о его всестороннем развитии. Каковых результатов достигли они, об этом мы можем судить по остаткам пластического искусства античного мира. Статуи Аполлона, Венеры, Геркулеса и других и теперь чаруют нас идеальной красотой человека, именно человека, а не одних только форм его тела. Грек в стацию хотел отлить живого человека, и статуи отразили не только красоту тела, но и ум, силу, храбрость, мощь, смелость, благородство и так далее, что уже есть принадлежность духа.

Жизнь человечества изобразила, таким образом, геометрический угол. Основание его — человек, крайняя точка по линии восходящей стороны угла — Аполлон, таковая же по нисходящей — прапрадед нынешнего гиббона или шимпанзе.

Но Аполлон в действительности существовал лишь как прекрасная мечта художника-ваятеля, а гиббон — как факт...

И тьма объяла человека...

Человечеству грозила гибель и на этот раз уже окончательная.

Глава девятая

Владыка замолчал, несколько утомленный продолжительной беседой. Отец Герасим, подавленный каким-то тяжелым чувством, сидел с глубоко поникшей головой. Время пробегало в ночной тишине. Где-то вдали на одной из городских колоколен часы пробили полночь. За окном квартиры сгущалась темнота. Вот она, густая и мрачная, как будто зашевелилась и побежала мимо окна. Послышался свист ветра. Тяжелая волна всколыхнувшегося воздуха ударила в оконную раму, охнула, вздрогнула и раскатилась по стеклу дребезжащими звуками. Надвигалась, очевидно, гроза.

Отцу Герасиму вспомнились его бессонные ночи, мучительные призраки, но теперь они показались ему бледными и тусклыми в сравнении с той действительностью, которую обрисовал епископ. Он понял, что действительно прозрел лишь сотую долю «язвы». Но если епископ прозрел ее всю, то почему же он так спокоен и бесстрастен? Почему в глазах его не отражается ничего, кроме глубокой, что-то прозревающей думы?..

И как бы в ответ на завертевшийся в мыслях отца Герасима вопрос полилась вновь речь владыки.

— Мир, растлеваясь, погибал, — заговорил владыка, — человек, разъедаемый «язвой», вырождался. И вот, когда начала оскудевать в мире жизнь, когда человечество в лице своих лучших представителей поняло, что ему грозит гибель, от которой никто не во власти избавить его, и поняв это, стало в одних местах учить — прожигать свою жизнь, чтобы, получше использовав оставшиеся в его распоряжении мимолетные наслаждения, заткнуть свои уши и закрыть глаза на все мучения и страдания людей, а в других для этой же цели велась проповедь самоубийства, — в это время стали раздаваться кое-где отдельные голоса, говорившие о каком-то избавлении, имеющем наступить, и даже в скором времени. Особенно ясно раздавались эти голоса у евреев. Пророк Захария возвещал, что откроется дому Давидову и жителям Иерусалима источник для смывания греха и нечистоты (Зах. 13, 1). Пророк Исая так был уверен в этом, что о будущем говорил, как уже о совершившемся, и проповедовал о Неком, который взял на себя все наши немощи и понес наши болезни. Царь Давид о Нем же возвещал, что Он не увидит тления (Пс. 15, 10), а говоря об имеющих наступить временах, тот же Исая пророчествовал, что тогда ни один из жителей не скажет: «Я болен», потому что народу, живущему там, отпустятся согрешения (Ис. 33, 24). Говорили, одним словом, о том, что должно совершиться что-то такое, что поразит «язву» в голову и уничтожит главное орудие ее: тление.

И действительно совершилось...

Чаяния языков исполнились...

Как-то странно загорелись глаза епископа. Он встал и выпрямился во весь рост. Взгляд его скользнул поверх головы отца Герасима и устремился куда-то в беспредельную заочную даль. Казалось, там, в глуби седых веков, хотел он рассмотреть то, что совершилось, и поведать о том сидевшему перед ним священнику.

И вдруг почувствовал отец Герасим, что сейчас здесь с ним тоже что-то совершится.

И сама, казалось, природа поняла, что здесь в этом убогом домике сейчас решится тайна человеческой души, разрублен будет наконец тот мертвый узел, в который затянулась жизнь несчастного священника.

И поняла это природа и не смогла сдержаться: блеснула молния над разоспавшейся землей и раскатилась в небе громом.

Свет молнии ворвался в комнату и озарил ее.

Отец Герасим невольно вздрогнул, но на лице епископа не шевельнулся ни один мускул. Уже не скромным тоном собеседника, а властным проповедническим голосом, в котором звучали ноты торжествующей радости, епископ проговорил:

— Какая-то величественная и страшная великая тайна совершилась в одном пункте земного шара — в Иерусалиме, среди народа и без того удивлявшего других своей странной историей. Что именно совершилось, это до сих пор в точности остается непонятым, неузнанным, непостижимым. Говорили, что появился великий пророк, властно учивший народ, творивший чудеса. За богохульство он был казнен по закону Моисееву, но потом пронесся слух, что он воскрес. Одни поверили, другие усомнились. Но и те и другие, и вообще все евреи только до потрясения подивились всему происшедшему и начали было успокаиваться; а многие даже спешили позабыть эту тяжелую и непонятную историю, как вдруг небольшая кучка евреев из бывших учеников казненного пророка, до тех пор никому почти не известная, отделилась от евреев в самостоятельную общину и стала проповедовать о том, что распятый на кресте был не кто иной, как Сам Сын Божий, равный Богу, Сам Бог...

— Вы поняли, конечно, что я заговорил о христианстве, — переменяв вдруг тон речи и опустившись на стул, сказал владыка, обращаясь к отцу Герасиму, — не правда ли, какая странная догматика этого учения? Мне думается, что если бы какой-нибудь шуточный человеческий гений задался целью нарочно составлять какую-нибудь философскую систему или какое-нибудь учение, все сотканное из самых необъяснимых тайн, из прямых противоречий человеческому уму, он не смог бы превзойти нашего догматического богословия. Тут что ни слово, начиная с учения о Троице и кончая лампадкой перед иконой, все только одни противоречия обыкновенному, здравому, незасоренному человеческому уму. Напрасно наши лучшие философские и богословские умы стараются с энергией, достойной лучшего дела, устранить эти противоречия и примирить христианство с разумом. Все их ученые и многолетние труды разбивает порой одним каким-нибудь «каверзным» вопросом простой мужик-сектант. Вам не приходилось видеть, как краснеют иногда наши миссионеры — магистры богословия, выходящие на беседы с сектантами-рационалистами во всеоружии своей науки и не могущие ответить на вопросы не богословского, а простого мужичьего детского ума? Не говорю уж о представителях естественных наук. Им христианство представляется настолько противоречивым здравому уму, что они перестали и говорить о нем. А некоторые великие умы, которые не желают все-таки расставаться с христианством, как, например, наш Л. Н. Толстой, чтобы хоть как-нибудь избавиться от этих противоречий, решили просто совсем

порешить с догматикой и стали говорить, что ее выдумали люди (иерархия), а в действительности Сам Христос ничего подобного не говорил. Неправда. В нашей догматике нет ни одного слова лишнего. Она есть полное раскрытие, путем строго логических умозаключений, подлинного учения апостолов, передавших в точности подлинные слова Христа. Если теперь христианство находят противоречащим здравому уму, то ведь первые люди, услышавшие его, выразились о нем еще крепче: они называли это учение «безумием». Тогда, значит, оно еще более противоречило здравому уму. И вот, несмотря на это, оно было принято людьми, распространилось почти по всему лицу земному и теперь уже насчитывает двадцатый век своему существованию. Для многих тут загадка. А в сущности—то дело очень просто. Разве в жизни мы принимаем только то, что очевидно для нашего ума? Часто совсем наоборот: принимаем и признаем за истину то, что совсем нам непонятно. Колумб сколько ни доказывал европейцам, что должна существовать Америка, никто ему не верил, а когда он съездил и привез новые вещи и новых людей и поставил их перед европейцами, тогда они должны уж были поверить, что есть действительно новая земля. Скажите деревенской старухе, что пар может возить, да еще быстрее лошади, поверит она вам? Но вот прошла через село железная дорога, и та же деревенская старуха, продолжая не понимать, как это пар возит, садится в вагон и соглашается, что пар может возить. Многие ли знают устройство телефона, и многим ли понятно действие электрического тока, но это не мешает не смыслящим ничего в физике пользоваться услугами телефона, телеграфа и признавать существование электричества. Тут факт перед глазами; его можно не понимать, так или иначе объяснять, но отвергать нельзя.

По этой причине не смогли люди отвергнуть и христианство в самом начале его появления.

Странная и непонятная была проповедь апостолов, но факт был у слушателей перед глазами, и они принимали христианство. О чем проповедовали апостолы? Во-первых, они ничего не проповедовали и ничему не учили, в том смысле, в каком мы теперь эти слова употребляем. Они просто ходили и рассказывали, разносили по миру «благовую весть» о том, что произошло в Иерусалиме. Что же там произошло, по словам апостолов? А то, что в мире, на земле «ЖИЗНЬ ЯВИЛАСЬ, И МЫ ВИДЕЛИ И СВИДЕТЕЛЬСТВУЕМ, И ВОЗВЕЩАЕМ ВАМ СИЮ ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ» (1 Ин. 1, 2), и поэтому теперь тленному сему надлежит облечься в «нетление и смертному в бессмертие» (1 Кор. 15, 53). Вот вся суть Евангелия, то есть «благовестий». Это, выражаясь грубо, квинтэссенция апостольской проповеди. И проповедуя об этом, апостолы о себе говорили: «Мы научились отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в похотях, и облечься в нового» (Еф. 4, 21–24). Мы уже перешли от смерти в жизнь (1 Ин. 3, 14), и хотя еще стенаем, ожидая искупления тела нашего (Рим. 8, 23), хотя внешний наш человек и продолжает еще тлеть, но внутренний со дня на день обновляется (2 Кор. 4, 16). Знаете, как обновляются, например, корнеплодные растения? В то время как плод начинает гнить снаружи, внутри его начинает завиваться новая жизнь — росток. Все оболочки его постепенно тлеют и заменяются новыми; выньте из земли осенью посаженную весной полусгнившую луковицу, и вы найдете там совершенно новый плод...

Вот это—то и есть тот факт, который постоянно был перед глазами слушателей апостольской проповеди. Люди слушали, смотрели на апостолов и видели, что это действительно какие-то новые люди. Жизнь в них была ключом. Чрезвычайно энергичные, необычайно сильные духом, с поразительно пронизательным умом, прозревшим в будущее, с какими-то необыкновенными телами, совершенно безболезненными, излучавшими живительные токи, так что больные, прикасаясь к ним, выздоравливали, эти люди совсем не знали страха смерти. «Аще и что смертное испивали,

не вредило им». Разница между проповедниками христианства и прочими людьми была так очевидна, что в одном месте — именно в Листре — язычники, увидев Павла и Варнаву, сказали: «Это боги в образе человеческом сошли к нам», а жрец Зевса бросился вскоре приносить им жертву. И много труда стоило апостолам разубедить своих слушателей, что они не боги, а обыкновенные люди, такие же, как и они...

И людям захотелось быть таковыми, как апостолы. Они спрашивали, что для этого нужно сделать? Им отвечали: сначала оставьте ваш образ жизни и живите так, как мы; креститесь во имя Иисуса Христа и делайте то-то и то-то, и вы увидите, что будете перерождаться и станете такими же, как мы, потому что Христос сказал: «Уверовавшие в Меня именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы» (Мк. 16, 17–18).

И люди исполняли, и делались подобными апостолам, и славили Казненного Пророка, и называли его Богом.

И распространилось на земле христианство.

Владыка задумался и, немного помолчав, продолжал.

— Кстати, — вот вопрос: в самом деле, был ли Христос — Бог? Этот вопрос для многих кажется таким трудным, что не будучи в состоянии решить его, отказываются назвать исторического Христа Богом и зовут его лишь Великим Учителем, необыкновенным Человеком, а про апостолов говорят, что они ошиблись, приняв Христа за Бога, тем более, что сам Христос никогда прямо и ясно не называл себя Богом. Не знаю, что тут непонятного? Ведь что такое Бог?

Принято думать, что богов было у людей много: Ваал, Астарта, Зевс, Венера, Апис, Перун, Ярило и другие. Это неправда. В каждой религии, которых действительно множество, человечество почитало все Одно и То же, только под разными именами, видами, образами. Почитало именно То, что давало человеку жизнь с ее атрибутами: плодородием, здоровьем, силой, весельем, любовью, миром, счастьем, красотой. Почитал человек солнце, потому что оно слало ему живительное тепло и пробуждало к жизни всю природу. Кланялся огню: он согревал его, очищал, уничтожал зловредные нечистоты. Боготворил мужчину и женщину, потому что они давали жизнь новому человеку, и так далее. Кажущаяся множественность богов происходила оттого, что одни люди то, что боготворили, относили к одним предметам, другие к другим. Вернее всего определяли Бога евреи. Они понимали, что солнце не самостоятельно животворит землю, потому что оно сотворено, и человек не бог, потому что тоже не самостоятельно дает жизнь другому человеку и, родив его, не может больше прибавить ему жизни на волос, и тому подобное, потому что они чтили первопричину жизненных сил. Они именовали Бога — Иеговой, Сущим, Начальником жизни, Жизнью в себе самой.

Христос, явившись в мир, назвал себя «Жизнью», то есть Богом. Могли ли с этим согласиться его ученики?

Возьмем пример: что такое доктор? Человек, который лечит больных. Если к вам зайдет незнакомый человек и скажет: «Я — доктор», — можете ли вы с ним согласиться? Вы можете согласиться, то есть поверить, а можете и не согласиться, то есть не поверить. Ну-с, а если вы лежите больной, и к вам заходит незнакомец, вынимает свои медикаменты и

начинает вас лечить и действительно вылечивает, я думаю, вы будете его звать доктором, хотя бы он и не отрекомендовался вам таковым.

Пока Христос жил с учениками и творил чудеса и даже им дал власть творить их, они и не думали называть Его Богом. Только апостол Петр в порыве любви к своему Учителю назвал Его раз Сыном Божиим, но вскоре сам же отрекся от своего исповедания вследствие страха перед иудеями. Но вот, когда в них самих забила жизнь ключом, когда они увидели, что в них появилась какая-то сила, которая перерождает их и делает совсем новыми людьми, и когда они поняли, что это есть исполнение того, что обещает им дать их Учитель, они не усомнились назвать Его «Жизнью», то есть Богом, поверили Его воскресению, которому не верили даже тогда, когда Он им являлся после Своей смерти, и смело возвестили миру: «Жизнь» явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь. И от этого они не могли уж отказаться не только страха ради иудейского, но и перед теми пытками, мучениями и казнями, которым их подвергли гонители христианства.

Но это между прочим.

За первыми проповедниками христианства последовал целый ряд людей, все эти мученики, исповедники, святители, отшельники; все те, именами которых наполнены наши святцы. Какие это все были могучие, сильные и телом, и духом люди с новыми способностями души, о которых раньше и понятия не имели люди. Они, например, знали тайну человеческой речи и могли понимать и говорить на незнакомых языках, читали чужие мысли, некоторые, разделенные друг от друга пространством, имели какой-то непонятный для нас способ сношения, сообщения между собой. Одним словом, это все были действительно новые люди, «новое творение во Христе». А какие все они были живучие! Знаете, что такое живучесть? Отрубите ящерице хвост и отбросьте в сторону. Повертевшись, ящерица найдет свой хвост, приставит к нему свое туловище и он на ваших глазах срастется. А не найдет ящерица своего хвоста, она из собственного организма отрастит себе новый хвостик. Вот эта-то способность организма восстанавливать разрушенные ткани и называется живучестью.

Современный человек почти совершенно утратил такую живучесть. Его организм представляет из себя какую-то гнилую ветошь, которая расползается от одного прикосновения. Сколько труда и времени нужно ему для того, чтобы зарастить, например, какой-нибудь рубец или восстановить разрушенные болезнью ткани. Даже восстанавливая пищей и сном свою ежедневную трату, человек постоянно испытывает дефицит. Если и восстанавливает свои силы, то всегда с минусом, иногда с очень маленьким и едва заметным, а иногда и с очень крупным. Сумма этих минусов и дает, в конце концов, крах. Человек превращается в бессильное, измученное, слабovolьное, ни к чему не способное существо, выражаясь фигурально, в лимон, в селедку, в тряпку, в лежачую колоду и, наконец, в буквальном уже смысле, в труп.

Совсем не то мы видим у первых христиан. Они именно были живучи. Возьмите, например, христианских подвижников, этих отшельников Фиваидских и других пустынь. Они не только не заботились о восстановлении своего организма, но, казалось, стремились к совершенно обратному, к тому, что как будто граничит даже с самоубийством. «Изнуряя» себя постом, постоянно проводя время в занятии тяжелым трудом, употребляя самую скудную пищу, да и ту в очень ограниченном количестве, живя как попало и где-нибудь, в вертепах, в пещерах, в подземельях, одеваясь в лохмотья, они не только не чувствовали никакого упадка сил, но наоборот, ясно ощущали в себе, как постепенно «внутренний» их человек обновлялся со дня на день. Каждый день прожитой жизни давал

им не минус, а плюс. Жизнь начинала в них бить ключом. Жизненных сил в них так было много, что некоторые из отшельников, не зная, куда их приложить, давали им исход тем, что надевали на себя на голое тело пудовые железные обручи, цепи, зарывались по шею в землю, всходили на столпы и простаивали по сорока дней. В результате получалась долговечная жизнь и совершенно безболезненная старость. Все подвижники достигали преклонных лет и затем не умирали, а как-то засыпали.

Да, позвольте, — опустил маленькую подробность, довольно характерную. Я говорил вам, что человек смердит, в широком смысле этого слова, и чтобы заглушить свой смрад, употребляет разные средства. А вот подвижники совсем не заботились о том, чтобы «благоухать». Духи и мыло они ненавидели. Многие из них не мылись, не купались, не сменяли всю жизнь белья и, удивительно, грязные и нечистые, они не смердели. Мало того, под конец от них начинал распространяться по временам тонкий, но заметно уловимый запах, напоминающий аромат душистого масла...

Так вот что сделало и делает христианство. Оно победило таившийся где-то корень того, что мы с вами называем «язвой», и теперь уничтожает ее в людях и в мире. С его появлением на земле в жизни человечества произошел поворот. От последней точки в нисходящей линии — от гиббона — человечество в лице христиан повернуло и пошло во восходящей. И первым признаком того служит увеличение среднего числа, показывающего продолжительность жизни. Жизнь людей в общем удлинилась...

Далеко в беспредельную высь уходит восходящая линия христианства. Конец ее пронизывает небо...

Какая длинная, захватывающая перспектива! Переходя от вырождения к возрождению, постепенно перерождаясь, преобразовываясь, человечество, по словам апостола Павла, достигнет того, что вот это самое наше грубое, тлеющее тело станет сообразным славному телу Христа (Фил. 3, 21).

Вы представляете себе евангельский образ славного тела Христа? Перенеситесь мысленно на гору Фавор. «Лицо Его сияет, как солнце, и одежды белы, как свет...» (Мф. 17, 2). Это первые ступени той лестницы, по которой движется перерождение темного человеческого тела, ступени просветления. Всякий человек излучает, светит, но только нехорошим темным и недоступным для нашего зрения мерцанием. Он виден бывает только иногда на могилах мертвецов, когда усиливается гниение, тление трупа в земле, и есть именно продукт тления. Похоже на то светят гнилушки в лесу темной ночью. Первым признаком перерождения человека служит исчезновение этого излучения как результат ослабления и затем уничтожения в человеке тления. Освободившись от тления, тело приобретает способность временами, во время молитвы человека, более или менее ясно отсвечивать уже другим, светлым мерцанием, а в дальнейшем — и прямо-таки сияет. Но это еще не конец.

После Фавора тело Спасителя переживает еще одну фазу развития. После могильного склепа в саду Иосифа Аримафейского оно приобретает уже новые свойства. Оно, выражаясь уподобительно и грубо, переходит из твердого состояния в газообразное. Оно могло как бы расплываться, распространяться, делаться невидимым и затем вновь собраться, сосредоточиться в одном пункте. С этим Телом Христос входил в дома, «дверем сущим затворенным» (Ин. 20, 19). Но и по воскресении это еще было не вполне прославленное тело, потому что, распространяясь и исчезая, оно могло собраться опять-таки в тело, по внешнему виду мало чем отличающееся от нашего. «Не прикасайся Мне, не бо вздох ко Отцу Моему» (Ин. 20, 17). Была и еще одна фаза развития Тела Христова.

Она совершилась в небесах. В этом окончательно прославленном человеческом теле видел Христа уже в видении апостол Иоанн на острове Патмосе.

Грубый человеческий язык, в котором еще нет слов для выражения небесной красоты и которым писал апостол Иоанн свой Апокалипсис, не смог, конечно, точно выразить зрительные ощущения апостола. Но и из тех грубых слов можно составить себе понятие о том, что такое славное Тело Христа в Его окончательной стадии преобразования. «Глава Его и волосы, — говорит апостол, — белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как пламень огненный, и ноги Его... как раскаленные в печи...» (Откр. 1, 14–15).

Вам приходилось сидеть когда-нибудь у пылающего камина и смотреть в самую середину раскаленной кучи углей? Не правда ли, каким чудесным цветом горят они? Нежным, белым с розовым, сияющим, с мгновенным переливом то золотом, то серебром. Вот во что должно преобразоваться и наше смрадное, потливое, полугнилое тело.

— Но, виноват, — спохватившись, улыбнулся епископ, — я нарушил данное вам в начале слово — говорить лишь о том, что видят наши глаза. Вернемся опять к истории и к фактам жизни.

— Простите, Владыка, один вопрос, — прервал епископа отец Герасим, — но как же нам-то сделаться, не говорю, подобными апостолам, а по крайней мере, получить те жизненные силы, которые были у подвижников, ведь мы же все крещены во имя Христа?

— Крещение лишь первая ступень: оно только очищает; от чего? — поговорим при случае, но жизни не дает. Что дает вообще человеку жизнь, или точнее, поддерживает в нем жизнь? Пища и питье. Не поешьте недели две и вы помрете. Из пищи и питья человек пищеварительным аппаратом вырабатывает себе тот материал, которым и возмещает ежедневную трату энергии, и на счет которого восстанавливаются отживающие ткани организма. Но, как я уже сказал, тут расход и приход дают постоянный дефицит. Оттого и происходит крах, в противном случае, то есть если бы минус покрывался плюсом, человек никогда бы не вырождался. Вот тут и припомните разговор Христа с евреями о пище, после того, как Он совершил чудо насыщения пятью хлебами пяти тысяч человек. Христос именно в этой беседе и указал евреям на этот дефицит, происходящий оттого, что пища, принимаемая человеком, сама-то по себе тоже тленная, гниющая, и таковой был даже тот необыкновенный хлеб — манна, которым питались их отцы в пустыне (и который за его чудесные свойства евреи называли ангельским, небесным хлебом), потому что и он подвержен был тлению. И указывая на это, Христос сказал евреям, что Он именно и даст им хлеб живой, живительный, нетленный; даст им истинную пищу и истинное питье. И тут же ясно, точно и определенно разъяснил, что этот хлеб есть Его Плоть, а питье — Его Кровь, причем лишил возможности евреев понимать эти слова в каком бы то ни было переносном смысле.

Вот, кто понимал эти слова в буквальном смысле и питался этой пищей, тот и делался подобным апостолам.

— Вы говорите о Таинстве Евхаристии. Но, Владыка, разве мы не причащаемся? — с какой-то тоской спросил епископа отец Герасим.

Владыка как будто не обратил внимания на этот вопрос. Он встал, расправил отеки от долгого сидения члены и, медленно пройдясь по комнате, остановился возле шкафа, в котором помещалась аптечка отца Герасима.

— Что это здесь у вас? — указывая на большую склянку, спросил он у отца Герасима.

— Хина, Владыка, — недоумевающе ответил отец Герасим.

— Лекарство от лихорадки... Сколько раз в день нужно принимать ее и в течение скольких дней?

— Раза три–четыре в день, смотря по степени болезни. Принимать, пока не пройдет лихорадка.

— Итак, чтобы избавиться от такой, в сущности пустяшной болезни, нужно принимать лекарство 3–4 раза в день, да раза три сходить к врачу. Так делайте же так и по отношению к тому Великому Лекарству, которое нам дал Господь. Так делали апостолы и первые христиане: они причащались ежедневно, пребывая между собой в любви и постоянно молясь. А мы, враждующие, лстивые в глаза, а за глаза готовые подставить всякому ногу, раз в год приходим к Небесному Врачу и хотим, чтобы сейчас же избавились от всех болезней своих, мук, страданий, благоприобретенных и унаследованных от своих предков; хотим, чтобы тысячелетиями портившаяся природа наша вмиг возродилась, и мы бы стали новыми людьми... Да и хотим ли? С этими ли мыслями приступаем мы к святому Таинству Причастия? Я видел в церкви раз, будучи еще молодым человеком, гвардейского офицера, который, зайдя в церковь, растерянно посмотрел по сторонам и, помахивая хлыстиком, обратился к церковному сторожу с вопросом: «Позвольте вас спросить, где тут причащаются?» И когда я, возмущенный этим, спросил его, что же заставляет его, такого невера, причащаться, он, любезно расшаркавшись, сказал: «Мне, видите ли, нужно свидетельство о бытии у исповеди и причастия... Нельзя... по службе... Начальство требует. Не будете ли столь любезны разъяснить мне, как это сделать?..»

Так вот, во–первых, «ради свидетельства». Тут, конечно, нет таинства. Тут одно кощунство. Подобным образом относились к таинству Евхаристии коринфяне, и апостол Павел написал им: «Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает» (1 Кор. 11, 30).

А во–вторых, люди исказили христианство, вложив в его учение другой смысл. Великое живое Божие дело в мире, дело перерождения, преображения, воссоздания человечества, люди поняли только как «религию». Из творческих актов Божьей силы, действующей в мире, — из святых таинств — создали религиозный культ, забыв, что Богу нужно единственное — поклонение «духом и истиною». «Духом», то есть благоговейно признавать существование Бога. «Истиною», то есть в последних даже мелочах своей жизни говорить истину, поступать по истине и всячески разоблачать ложь. И только. Богу не нужны ни наши храмы, ни поклоны, ни молебны. Все это нужно нам, чтобы сделать нас христианами. Но мы привыкли падать ниц перед идолами и от христианства усвоили себе только поклонение. Рабы страстей, разделивши всех на сильных и слабых, на богатых и бедных, на начальников и подчиненных, на господ и на прислугу, на ученых и на невежд, на судей и подсудимых и так далее и определивши свои отношения друг к другу правами и обязанностями, люди и к Богу свои отношения определили тоже как права и обязанности. Угодничая перед сильными людьми, мы и живую веру в Бога заменили «угождением» Богу. Всегда в душе рабы, мы и слово «раб Божий» поняли в буквальном смысле и христианскую добродетель смирения превратили в душевное холопство, забыв слова Христа: «Я уже не называю вас рабами... но друзьями» (Ин. 15, 15). И даже исполняя заповеди Божий и делая добрые дела, мы смотрим на это как на взятку, которую даем Богу, чтобы получить местечко на том свете. Можно ли удивляться

после этого тому, что не только люди, но и сами священники даже, принимая Таинства, нисколько не изменяются и остаются все такими же, как были.

Если бы апостол Павел посмотрел на нас, то тоже бы назвал нас «имеющими образ благочестия, силы же его отвергшимися» (2 Тим. 3, 5).

Но не все на свете подлецы, глупцы, кощунники, торгующие благодатью, их даже меньшинство. Есть много искренних людей. Они благоговейно принимают и совершают таинства, не для фарисейства делают добрые дела, чистосердечно молятся. Получают они что-либо реальное, осязательное, что убеждало бы их в истинности христианства? Несомненно. В противном случае христианство исчезло бы давным-давно. Этим оно только и держится в наше время. Для примера укажу на тот факт, что духовное сословие, наиболее часто причащающееся, дает наименьший процент смертности детей и наибольший — долголетних старцев. Это сословие наиболее живучее. Объяснять это обеспеченностью нельзя: есть сословия еще более обеспеченные. Большой процент людей умных, талантливых выходят из семейств нравственных, благочестивых. Но это все мало заметно и потому мало убедительно.

А мало заметно вот по какой причине. Чтобы выстроить дом, для этого достаточно разве приобрести строительный материал и свалить его в кучу? Сколько ни наваливай материала — дома не будет. Нужен план, нужен архитектор, нужно знать, что, к чему, куда и как класть, нужно обязательно строгое распределение материала. Тогда получится дом. А между тем, жизнь самого лучшего христианина наших дней представляет собой именно кучу добрых, разрозненных, обрывочных дел, мыслей, одиночных чувствований, отдельных случаев исполнения Таинств и обрядов. Куча иной раз бывает и очень велика. Но строительства нет, и толку от этого материала слишком мало. Вот почему сейчас у нас нет таких христиан, которых, сравнив с прочими людьми, мы могли бы ясно, ярко, неотразительно увидеть всю разницу между людьми, выросшими под воздействием христианства и вне его. Нет людей, на которых мы могли бы указать пальцем и сказать неверующему: «Прииди и виждь».

Нет... но они могут быть, и очень много их могло бы быть, если бы всякому ищущему Бога отвечали не словом: «Веруй», а словом: «Делай»... «Что вы зовете Меня Господи, Господи, и не делаете того, что Я говорю».

Эти слова обычно понимают в том смысле, что будто бы Христос требует от нас совершения добрых дел, а не пустого призывания Господа. Не совсем это верно. «Без Меня не можете делать ничего». Для делания добра нужны силы. А самые сильные волей люди сознаются, что нравственный евангельский идеал недостижим. А вот для того, чтобы сделать то, что говорит Христос о Таинстве Причащения, никаких сил не нужно. Нужно только придти к Нему. «И приходящего ко Мне не изгоню вон». Приходите еженедельно, ежедневно. Приходите без кощунства. Соединяйтесь со Христом теснее, так, чтобы Тело и Кровь Его вошли у вас во все ваши суставы, во утробу, в сердце; и мало-помалу у вас явятся силы творить добро. Идите дальше, и вы увидите, как легко делать то, что раньше вам казалось недостижимым, неосуществимым. Продолжайте дальше и станете подобными апостолам. Еще дальше — и «больше сих узрите».

В то время, как люди страдают и бьются в муках религиозного сомнения, какой-нибудь монах, там, где-нибудь в убогой келье какого-нибудь монастыря, не мудрствуя лукаво, живет по букве Евангелия и церковного устава, живет никем не замечаемый и часто презираемый, и вдруг через несколько лет такой жизни начинает творить необычайные дела. Проносится молва о появлении святого. Умирает. Открывают мощи. Люди

разделяются на два враждебных лагеря. Одни составляют акафисты и похвалы святому, — другие насмеваются, во всем заподозривая один обман, невежество. И нет людей, которые бы беспристрастно и спокойно исследовали дело, изучили и, не спеша со своими выводами, только излагали суть дела. Если бы обратили на это внимание, то у нас уже имелся бы богатый материал для великой науки, раскрывающий суть христианства. И тогда бы мы шли за Христом не с завязанными глазами и не со слепой верой, а с верой разумной и сознательной, и скорей бы пошло дело возрождения, перерождения людей. Больше стало бы святых, больше чудотворцев, и чудо перестало бы для нас быть «чудом», а стало бы заурядным явлением, потому что каждый мог бы его творить, как это было во времена апостолов.

Глава десятая

И верил, и не верил словам владыки отец Герасим. И чувствовал он, как захватывало его минутами страстное желание верить в возможность такого перерождения людей, о котором говорил епископ. И вслушиваясь в слова епископа, он переносился мыслями в евангельские времена, и тогда ему казалось, что все ведь это так просто и ясно и что действительно это так и должно быть, но вдруг откуда-то снова наплывали на него тяжелые волны раздумья, и тогда все эти евангельские повествования о жизни и делах Христа и Его апостолов начинали казаться ему чудной, волшебной сказкой, райским сном, от которого вот-вот сейчас разбудит его суровая действительность. Нет, уж лучше не засыпать, как ни обольстительны эти сновидения. Пусть лучше он будет испытывать реальные муки, чем стремиться к миражному счастью...

На дворе шел дождь. Крупные капли его бились в окно и сползали по стеклам прозрачными струйками. В комнату проникла предутренняя прохлада. Отец Герасим сидел близко к окну и его начинала пробирать дрожь.

— Господи, — думал отец Герасим, — ведь вот я же чувствую на себе силы природы, почему же нельзя так же ясно, отчетливо ощутить, увидеть или каким-нибудь другим путем познать силу Божию, ту благодать, о которой говорит христианство. Владыка говорит, что нужно только придти ко Христу, а потом все станет ясно... Владыка не понимает меня. Он не догадывается, как глубоко в меня вьелся корень сомнения. Ведь сделать этот первый шаг для меня—то и есть непосильная тяжесть. Как могу я заставить себя думать, стоя перед престолом, что во мне действует Сила Божия, благодать, данная в рукоположении, когда я ничего такого не чувствую... Как я могу переделать свои глаза, чтобы они не видели хлеба и вина, а видели бы Тело и Кровь Господню? «Это тайна». Конечно, если «это» правда, то оно и должно быть великой тайной, непостижимой уму человека. Но как убедить себя, что это действительно тайна, а не обман, что здесь действительно есть что-то непостижимое, а, может быть, тут только и есть то, что есть, что видят глаза... Я не требую полного знания, а так, ну хотя бы какой-нибудь фактик, за который мог бы уцепиться разум... Остальное можно было бы принять на веру...

И решив довести дело до конца, отец Герасим высказал епископу свои мысли. Владыка помолчал и в раздумье ответил:

— Тайна Евхаристии непостижима, но что это действительно Тайна, что в ней действительно есть что-то великое и пока непостижимое человеческим умом, в этом можно убедиться путем опыта и научного изучения тех изменений, которые она производит в организме человека. Под воздействием этого таинства в человеке увеличиваются его жизненные силы. Это самое действительно динамогенное средство, выражаясь языком медицины. И, по моему мнению, действие его на организм человека

вполне доступно научному исследованию, вам теперь, конечно, не время заниматься им, а потому я предложу вам другое средство для того, чтобы, как вы говорите, ясно и отчетливо ощутить присутствие в таинствах особой силы, или благодати. Я предлагаю вам наблюдение над собой и над другими, именно над теми, на которых вы уже испытали все способы воздействия в целях их возрождения, над ночлежниками. Вы действовали и проповедью, и примером, и благотворительностью, и пришли к отрицательному результату, а пока учили других, сами стали одной ногой в могилу. Примите теперь мой совет: поставьте себя и своих пасомых под непрерывное действие таинств, и вы получите обратный результат, достижение которого можете проследить разумом.

Укажу и еще факт, где действие благодати доступно наблюдению. Факт этот — освящение воды. Вы служите молебен с водосвятием или совершаете крестный ход на реку. Ничего особенного, кроме обычного молитвенного настроения, вы не ощущаете, и вода тоже остается водой с тем же цветом и вкусом, а между тем результат получается поразительный.

— Какой? — с живейшим интересом спросил отец Герасим.

— Вы разве не обращали внимания? Освященная вода приобретает свойства, великое значение которых мы поймем тогда, когда представим себе наши реки. Во что обратилась в них вода? Города и села спускают в них все свои отбросы и нечистоты; люди и скот, омываясь, очищают свою грязь, омывают часто заразительные раны. Вследствие этого вода в реках кишит болезнетворными всевозможными микробами. И вот, все эти заразительные начала убиваются в воде молитвой и святым крестом. Освященная вода не только обезвреживается, но и приобретает противогнилостные свойства, и кропя этой водой помещения, вы оздоравливаете воздух, производите, так сказать, дезинфекцию. И еще на многое другое можно было бы указать, что может дать человеку возможность принимать христианство не на веру только, но и разумом. Но дело не в этом... Собственно говоря, я даже не понимаю, какие тут препятствия могут быть со стороны разума? Ведь он тут ничего не смыслит. Наши естественные науки — детский лепет деревенского ребенка о своей хате, который скептически относится к рассказам городского дяденьки и считает невозможным существование дворцов, не подозревая, что дворец есть дальнейшее развитие хаты...

И вообще не понимаю я этих толков и споров о противоречии между верой и наукой, между религией и разумом. По недомыслию созданный и искусственно, а отчасти и злонамеренно раздутый вопрос. Наука — это область исследованного и известного, вера — неизвестного и неисследованного. Вот и все. Какое тут может быть противоречие?

Молчал отец Герасим. То, на что указывал ему епископ, было для него ново; на это он действительно не обращал внимания. Так, совершая, например, в числе прочего городского духовенства крестный ход на Иордань, отец Герасим смотрел на это как на символическое действие, установленное в воспоминание крещения Господа Иисуса Христа во Иордане. Да только ли это? Ведь на очень и очень многое смотрел он лишь как на обряды, единственный смысл которых он полагал в возбуждении молитвенного настроения, а во многих действиях и совсем не находил никакого смысла.

Теперь же... теперь... что же теперь?

Мысли отца Герасима спутались... В груди сдавило. Ему хотелось крикнуть, но не от боли, а от радости: «Господи! Так не оставил Ты мира? Есть, значит, в нем Твоя сила. А значит, и «все» возможно...»

— Друзе, радость моя, отец Герасим! — раздался вдруг голос владыки. — Прочь все сомнения. Вспомните своих ночлежников, свою паству. Гибнет она. Вы ее любите и от любви к ней сами чуть было не погибли, понадеявшись по незнанию спасти ее своими силами. Теперь поняли, что без Христа нельзя и что есть в мире Его спасающая сила. Облекайтесь же в эту силу и снова беритесь за свой труд. И доведете дело до конца. А труд ваш будет для вас теперь легок.

Да, отец Герасим уже сознавал, что теперь труд, надломивший его, будет ему легок, потому что загорелась впереди яркая пламенная твердая надежда. Жизнь осветилась новым смыслом. Радостно встал он и светлыми глазами взглянул на владыку. И спокойным любящим взглядом ответил ему владыка и тоже поднялся со стула.

На дворе уже светало. Керосин догорал, но в комнате было светло и без лампы.

Владыка смотрел на отца Герасима и почти не узнавал в нем того священника, который стоял перед ним в церкви у амвона. Так сильно изменилось выражение его лица. Но вот наблюдательный взгляд владыки уловил на лице отца Герасима набежавшую тревожную тень.

— Ну что еще? В чем дело? Взгляд отца Герасима потух.

— Владыко, — проговорил он взволнованно, — но...

Отец Герасим остановился. Слова у него не шли с языка.

— Говорите, — спокойно и властно сказал епископ.

— Владыко, я грешник... я не священник... был...

— Знаю. Вы были учитель... Вы учили людей евангельским истинам. Это может делать всякий христианин, преподаватель, профессор. Когда вы благодарили бедным, лечили больных, делили их горе, вы были гуманист. Когда отпевали покойников, вы были духовное лицо, начетчик, но вы не были возродителем, освятителем людей, священником. Но зачем вспоминать об этом? «И грехов ваших не вспомнят к тому», — говорит Бог. В муках сомнения вы впадали в отчаяние и отвергались в мыслях от Христа. Теперь совесть тревожит вас, но и на это у нас есть врачевство — святая исповедь. Вы исповедались уже мне. Примите же разрешение. «Господь и Бог наш Иисус Христос, — молитвенно проговорил епископ, перекрестившись, — благодатию и щедротами Своего человеколюбия да простит ти, чадо, вся согрешения твоя...»

Отец Герасим с благоговением опустил на колени перед святителем. «...И аз недостойный архиерей, — продолжал молитву епископ, покрыв отца Герасима, за неимением епитрахили, полой рясы и возложив на его голову обе руки, — властью Его, мне данною, прощаю и разрешаю ты от всех грехов твоих во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь...»

Спокойный и радостный поднялся с пола отец Герасим и крепко поцеловал благословившую его десницу святителя.

— Смотрите, смотрите: заря занимается, — указал владыка в окно. — Пусть же будет она вам зарей новой жизни, такой же радостной, светлой. Смотрите, скоро ведь и солнце будет всходить. Ах, какая красота, в самом деле.

Владыка подошел к окну. Квартирка отца Герасима стояла почти на окраине города. За двором, на который выходило окно, не было никаких построек, и глазу открывался широкий простор далеких полей, уходивших за горизонт, пылавший светом румяной зари. Снизу уже пробивались золотистые лучи. Через несколько времени спокойно и величаво выкатилось на небо и яркое солнце. — Ну, теперь пора и по домам, — проговорил владыка. Помолвившись на образ, он взял в руки посох. Отец Герасим схватил свою шляпу и отворил владыке дверь.

* * *

Широко раскрывали свои заспанные глаза спешившие на утренний базар молочные торговки, впопыхах наталкиваясь на шедшего по улице пешком архиерея. Одни останавливались и, разинув рот, долго смотрели вслед, дивясь такому невиданному зрелищу. Более расторопные бросали свои посудины и подбегали принять благословение.

Владыка шел, мерно постукивая посохом, жизнерадостно втягивая в себя свежий утренний воздух и с любопытством рассматривая город. Он шел бодрой походкой и весело время от времени перекидывался фразами с отцом Герасимом. Лицо его светилось улыбкой и свежестью; бессонная ночь не оставила на нем никакого следа.

Город еще спал, но по улицам бродило уже порядочно народу. Все это были какие-то тощие фигуры, в большинстве одетые в лохмотья.

— Это не ваши ли «прихожане»? — спросил владыка.

— Они самые... «пострелять» вышли.

— Однако и много же их у вас. Я еще ни в одном городе не встречал такого изобилия нищих. «Приход» у вас слишком велик. Вам надо помощника. А затем вот что: нам еще о многом с вами надо поговорить относительно вашего «прихода». Вы приходите ко мне по вечерам. А что, нельзя ли как-нибудь собрать весь этот люд к вам в церковь, в один какой-нибудь день?

— Отчего же? Можно... хотя и трудно.

— Так вот, если удастся вам их собрать, дайте мне знать. Я приеду. Мне хочется поговорить с ними. Ну, вот мы и дома... Прощайте пока. Идите отдохнуть. Господь да благословит вас.

Глава одиннадцатая

Пройдя мимо удивленного швейцара, владыка легкой походкой поднялся по широким ступеням лестницы архиерейского дома и направился прямо в кабинет. Быстро сбросив с себя верхнюю одежду и оставшись в одном подряснике, он бодро сел за письменный стол.

Но тут бодрость покинула владыку. Руки его вдруг упали бессильно на мягкие ручки кресла, брови сдвинулись, глаза погасли, лицо устало осунулось. Но это не от бессонной ночи. Таковых ночей в жизни владыки бывало много. Они проходили бесследно.

Владыка задумался о результатах своей ревизии. — Везде все одно и то же, все одно и то же: что в одной епархии, то и в другой, и в третьей, — мысленно повторил владыка, разбираясь в полученных от ревизии впечатлениях. — Вот только отец Герасим —

крупное и резкое исключение. Этот священник, назвавшийся атеистом, в сущности, гигант христианского духа, сраженный не горой, а соломинкой, нашим однобоким уродом, нынешним богословием, вырвавшим из-под его ног почву. Теперь он встал на ноги... толчок дан. Дальше он пойдет сам. Он явит людям христианина, если только сами же люди не испортят его. Народ натосковался за истинными пастырями и, если увидит его в лице отца Герасима, тотчас же назовет его святым, то есть исключит из своей среды, поставит над собой и поклонится ему, как это и сделал он уже с одним нашим пастырем, и там всему делу поставится точка. Пока хорошие люди между нами, нам все-таки совестно, в их присутствии мы чувствуем себя неловко; их облик налагает и на нас обязанность быть таковыми же. И мы, хотя и немножко, все-таки стараемся походить на них, подражать им. Но сделали хорошего человека «святым», и все дело пропало. Мы сразу сбрасываем с себя эту обязанность и заменяем ее поклонением. Святого — на пьедестал... под пьедестал моментально кружку — и все дело сводится к опусканию медных монеток в эту кружку. А в назидание народу издается «житие», где с особым старанием собираются наиболее необыкновенные события из жизни святого, наиболее поразительные чудеса, чтобы как можно выше поставить святого; сделать его как можно менее похожим на обыкновенных людей. И люди забывают благодаря этому, что святой был таким же, как они, а что, стало быть, при соблюдении известных условий, и каждый из них может быть таковым же, как он.

Удивительное, странное и непонятное совершилось с христианством. Вопреки ясным и точным уверениям Христа о том, что люди могут делать все, что захотят, что даже, если вздумают как бы для каприза или забавы проявить свою силу — переставить гору с одного места на другое, то и это могут сделать, — люди упорно долбят, что не могут. Противоречие между жизнью и Евангелием, прежде считавшееся за грех, теперь узаконено... Совершенно незаметно в догматику прокрался и прочно утвердился — негласно, между строк — новый догмат, явно и упорно исповедуемый всеми без различия — догмат о недостижимости евангельского идеала. Недостижим идеал — и со спокойной совестью раскатывают в каретах мимо нищих и убогих преемники апостолов — наши епископы. Недостижим идеал — и можно, стало быть, не краснея, громко и раскатисто, когда требуется уставом, читать в церкви народу евангельскую заповедь — «не собирайте себе сокровищ на земле», — и в то же время прятать рубль за рублем в заветную кубышку.

Прежде за таковые противоречия между словом и делом народ гнал с кафедры своего епископа. Теперь же тут не видят ничего противоречивого и даже, когда слышат, что епископ совершает дела, за которые подлежит немедленному извержению из сана, и тогда спокойно мирятся с этим и продолжают принимать священников, поставляемых таковым епископом. Нужно ли удивляться после этого тому, что настоящий христианин стал величайшей редкостью. И не подозреваем мы, как успешно выполнен здесь адский план дьявола, задумавшего погубить христианство.

Силен враг христианства и хитер, но все же походит его хитрость на людскую... Когда пламя пожара забушует, стараются первым делом локализовать силу огня, и только неопытные сдуру полезут тушить. Опытные же пожарные, видя, что дом в огне, не тратят напрасно сил на его тушение, а моментально кидаются убирать подальше соседние строения и все то, чему может передаться огонь. Результат блестящий: дом, правда, сгорает, но зато остальное все в целости. Поступи пожарные наоборот — и выгорел бы весь квартал. Так же действует и дьявол: как только вспыхнет, загорится где-нибудь человек пламенем христианской веры, так скорее его куда-нибудь подальше от людей, в лес, в монастырь, в затвор, чтобы не передал своего огня другим людям, и только особо каждый раз сила Божия выводит его оттуда на «подвиг народный».

Странно, люди считают возможным все передать потомству: свое имущество, звание, положение, свои даже телесные и умственные качества, таланты. Относительно одного только сделано исключение: почему—то считается невозможной передача от предков потомкам святых качеств души и тела. Дело спасения людей законопатили в скорлупу личного «нравственного» совершенствования.

Нет опыта предшествующих поколений. Каждому приходится действовать в одиночку и притом каждый раз начинать сначала. Благодаря этому нет опытных духовных руководителей. Священники? О, как не люблю я этих «исправных и аккуратных» батюшек, с гладко пригнанными к голове камилавками, с крестами и орденами за выслугу лет, строго придерживающихся точного исполнения всяких правил и инструкций. Это самые опасные враги христианства. Пастырство — это творчество. Нечего сказать: хороши были бы у нас произведения литературы, если бы все поэты и писатели вздумали строго придерживаться правил, выработанных теорией словесности. И по сей час писали бы все виршами. Истинное пастырство, как творчество, не подлежит регулированию никакими правилами. И право же, лучше иметь дело с такими, как отец Павел, нежели с этими «честными служаками»... — Да, уж как бы не забыть: отца Павла обязательно принять в епархию. Это самый подходящий соратник отцу Герасиму. Они будут дополнять друг друга.

Мысли владыки опять перенеслись к отцу Герасиму.

— Теперь зависит от того, как закипит у него работа, — думал владыка, — но она будет вместе и моими первыми шагами на новом месте. Господи! Только не оставь нас Своим благословением!.. Скорей! Надо спешить. Так зажжем огонь христианства, покажем его людям и тогда будем о нем проповедовать... Только скорей бы... скорей. Нет, впрочем... торопливость может помешать успеху... Господи! Избавь от искушения — величайшего искушения, — в которое впали верные Твои слуги, книжники и фарисеи, распявшие Тебя из-за боязни, чтобы не погибла в народе вера в Бога, чтобы не нарушен был закон Божий, данный чрез Моисея. Избавь от этого искушения — от боязни за Твое дело в мире. Как легко впасть в это искушение, как велик соблазн перейти от работника в положение охранителя, затем управителя и, наконец, вообразить себя и хозяином. И тут уже вполне естественно будет всякого несогласного со своим мнением принимать за врага Божия и, в порыве святой ревности о законе Божиим, распинать его... Боже, Боже! Не наша воля да будет, но Твоя... Только не оставь нас до конца... Спаси нас...

Владыка откинулся на спинку кресла, протянул ноги и, сложив на груди руки, опустил голову. Усталость взяла свое. Глаза закрылись, и через несколько минут звуки равномерного дыхания показали, что владыка погрузился в сон.

Через час, однако, омывши лицо и грудь свежей, холодной водой и прочитавши утреннее правило, владыка снова сел за письменный стол, намереваясь приняться за дела. Он взял оставленную на столе секретарем громадную пачку всевозможных бумаг, прошений, протоколов, журналов всяких заседаний, но, положив на некоторые из них резолюции, бросил перо и порывисто встал с кресла.

— Экое несчастье... облекли живое дело Христа в форму всяких протоколов, актов, журналов, а сатана и обрадовался. Завалил ими все канцелярии епископов, чтобы отвлечь их внимание от живого дела... и успел сделать это: епископам некогда совсем стало заниматься прямым делом. Но нет... Мы еще поборемся с ним именем Господа Иисуса Христа. Полежите—ка, родименькие, вот здесь.

Владыка сдвинул в сторону кипу бумаг и придавил их тяжелым пресс-папье.

— Ущербу большого от этого не будет... Ишь вон: извольте перечитывать следственное дело по жалобе прихожан на священника. Три года тянется дело о взаимных оскорблениях... 150 листов... на одно чтение понадобится часа три. А на днях эти же прихожане были у меня вместе со своим священником, любовно ходатайствовали об открытии у них школы. Про жалобы давным-давно и позабыли... А тут сиди и пиши резолюцию только потому, что на бумаге дело еще не окончено и лежит на очереди... Нет... Довольно. Предпримем что-либо другое...

Владыка позвонил келейника и послал его за экономом архиерейского дома.

Через несколько минут отец эконом уже принимал благословение владыки.

— Отец эконом! Я слышал, тут у вас есть архиерейская дача за городом?

— Есть, Ваше Преосвященство.

— Большая?

— Здание громадное, службы, сад, пруд, лесу десятины три, да десятины две свободной земли.

— А соседняя земля чья?

— Городская, Ваше Преосвященство.

— Свободная? Много?

— Сдается в аренду под выгон скота... Места много: десятин сто будет.

— Ну, вот что: ваша дача для меня мала. Возьмите-ка экипаж и поезжайте сейчас к городскому голове. Справьтесь у него от моего имени, не продаст ли нам город эту землю и почем, а если не продаст, то не может ли отдать нам, по крайней мере, в долгосрочную аренду... Если не всю, то хоть десятин двадцать. Поняли? Ну, скорей...

— Слушаю, Ваше Преосвященство. Только... осмелюсь доложить: не соизволите ли лично осмотреть дачу. Может быть, покупка окажется излишней... Прежние преосвященные очень довольны были дачей...

— Нет, нет. Я сказал вам, что мне тесно там будет. Пять десятин — мало...

— А на какие же средства, Владыко?

— Ну, это уж не ваша забота... Бегите. — Отец эконом в недоумении отправился исполнять «каприз» владыки.

— Пошлите-ка ко мне швейцара, — крикнул ему вдогонку владыка.

Швейцар, рослый и представительный старик, приветливо раскланивавшийся с городскими отцами протоиереями и едва отвечавший величественным кивком головы на приветствия сельских батюшек, чтобы не уронить достоинства представляемого им

архиерейского преддверия, узнав, что владыка изволит требовать его к себе, оправил мундир и предстал пред очи владыки, торжественно и важно сложив руки для принятия благословения.

— Здравствуйте, Петр Акимович... Так, кажется, вас зовут?

— Так точно, Ваше Преосвященство.

— Вот что, голубчик, вы бы где-нибудь приискали себе место, — швейцара мне не надо.

Петр Акимович, польщенный сначала тем, что владыка обратился к нему на «вы» и назвал его по отчеству, побледнел и беспомощно опустил руки. Он совсем не ожидал такой беды. В голове у него промелькнула черная мысль: «Успели наклеузничать. Это непременно Антон, архиерейский кучер... больше некому. Он давно на меня зол, давно хочется ему самому попасть в швейцары».

— Ваше Преосвященство, — дрожащим голосом и сразу потеряв всю свою величавость, проговорил швейцар, — за что такая немилость? Двадцать лет служу в швейцарах. Человек я одинокий. Все владыки были мною довольны... И вам готов служить верой и правдой. Злые люди наговорили вам на меня...

— Совсем не в этом дело, Петр Акимович. Не злые люди наговорили мне на вас, а Господь наш Иисус Христос сказал. Вот прочитайте Евангелие. Вы грамотный?

— Так точно, Ваше Преосвященство. Владыка раскрыл Евангелие и подал швейцару. «Большой из вас да будет вам слуга», — прочитал швейцар указанное владыкой место в Евангелии.

— Ну, а кто из нас большой: я или вы? Вот я и хочу быть сам слугой. Но только буду служить тому, кому надо. Вы кому служили? Гордости людской да пустому тщеславию. Пусть это будет у светских, а нам, служителям Христа, это не к лицу. Придет ко мне здоровый — он и сам сможет раздеться и одеться, а зайдет старый или больной, тому и я смогу помочь. А не будет у меня времени, найдется кто-нибудь из монастырской братии, который во имя Христа возьмет на себя этот подвиг служения ближнему. Понимаете? Вот возьмите Евангелие, почитайте, пораздумайте, а потом придите ко мне и скажите, правильно ли я говорю. А это вот прибейте на дверях.

Смущенный спустился Петр Акимович по лестнице, держа в руках Евангелие и небольшую карточку. На карточке было написано: «Владыка просит лиц, имеющих к нему дело, заходить без доклада. Принимает во всякое время».

Глава двенадцатая

Смутился не один швейцар. Скоро все, кто только имел отношение к архиерейскому дому, заговорили про действия архиерея. Судили, рядили, строили всевозможные догадки. Разговорам не было конца, потому что каждый день приносил что-либо новое. Больше всего разговоров было про хозяйственные затеи нового архиерея. Владыка взялся переделывать архиерейский дом. По всем комнатам сновали плотники, столяры, печники. Отец эконом едва успевал выполнять распоряжения епископа.

Не заботы о перестройке дома, собственно, волновали архиерейскую дворню, а то, что дом переделывался как-то странно. Все помещение начинало представлять лабиринт маленьких комнат.

— Портит только владыка здание, — ворчал отец эконома, — и что это ему вздумалось?

— А никак владыка-то гостиницу строит, — глубокомысленно произнес кучер Антон, пробравшийся поглядеть на работы, — только кого же он селить-то здесь будет? Нечто родни у него много...

— Много, родимый, много, — хлопнул Антона по плечу владыка, торопливо проходивший по комнатам и услышавший мимоходом его рассуждения.

Антон конфузливо удалился.

— А сказали, что одинокий, — закончил он уже на лестнице свои рассуждения.

Скоро, однако, все объяснилось. Разъяснил отец эконома, с которым владыка поделился своими планами.

— Это, видишь ли, — толковал он Петру Акимычу, — все для приезжающих батюшек. Я, говорит владыка, архипастырь, то есть отец всем пастырям, я хочу, чтобы они приезжали ко мне, как дети к отцу.

Отец эконома правильно передал идею владыки о необходимости тесного взаимообщения пастырей, как между собой, так и со своим архипастырем. Осуществление этой идеи было заветной мечтой владыки. Сын сельского священника, хорошо знавший быт и нравы сельского духовенства, владыка понимал, что ничто так не сближает между собой духовенство, как их встречи друг с другом в гостиницах и на постоянных дворах, когда духовенство наезжало в город по случаю ли съезда или для определения своих детей в учебные заведения. Тут отцы говорили между собой по душам, и не зал для заседаний съезда, а именно номер гостиницы являлся действительным связующим звеном. Этим-то могучим средством и захотел воспользоваться владыка для осуществления своей идеи. Мера не носила в себе никакой искусственности и принужденности, а потому дала результат, превзошедший всякие ожидания владыки. Привыкшие в селах к простоте обращения сельские батюшки, встретив у владыки ту же простоту, сразу почувствовали себя как дома. Останавливались у владыки уже ради того одного, что это стоило дешевле, чем в номерах.

Архиерейский дом принял необычный вид. Временами он походил на муравейник. К подъезду его подходили и подъезжали священники, дьяконы, псаломщики, таща за собой свои чемоданчики.

У подъезда встречал гостей все тот же Акимыч. Но это был уже не величественный прежний швейцар. Евангелие пало на добрую почву. Акимыч попросил архиерея благословить его именно на тот подвиг служения ближнему, о котором говорил ему владыка и на который он хотел призвать кого-либо из монастырской братии. Владыка благословил с радостью и тут же облек Акимыча в собственный подрясник.

Петр Акимыч превратился просто в Акимыча — ласкового, приветливого старца, суетливо и добродушно встречавшего «архиерейских гостей». И чем беднее и старее был

приезжавший священник, тем почтительнее встречал его Акимыч; принимал от него благословение и, подхватив чемоданчик, вел гостя в номерок.

Холодные и строгие стены архиерейского дома, к которому духовенство прежде подходило не иначе как только старательно расчесав волосы, приладив камиллавки и кресты, и не иначе как только «с докладом», с той или другой бумагой в руках, эти самые стены затеплились лаской и светом. И потекли сюда и радость, и горе, и нужда, и счастье — все, чем жило и дышало духовенство, и тут, под опытным руководством владыки, все импульсы жизни освещались смыслом, проникались духом евангельского учения, и пропитываясь здесь благожелательным любящим настроением, приезжавшее духовенство, уезжая, невольно распространяло то же настроение по самым отдаленнейшим уголкам епархии.

Мало-помалу, совершенно незаметно для себя, духовенство спланивалось около архиерея в одну тесную семью, проникнутую одним духом и спаянную одной общей идеей.

Канцелярия заглохла. Изредка только появлялись в ней бумаги, без которых нельзя было обойтись только потому, что они подлежали оплате гербовым сбором. Но бумаги оплачивались и складывались в архив, а дела вершились тут же у владыки, за стаканом чая, когда духовенство, покончив свои дела в городе, сходилось вечером в обширный зал владыки, во всю длину которого стояли столы с кипевшими на них самоварами.

Позабыты были и «доклады». Они заменились живыми беседами, затягивающимися иногда за полночь.

Заплесневела и архиерейская карета. Владыка не признавал иного способа передвижения по городу, как только собственные ноги и трамвай.

Конюшня архиерейская тоже потерпела переворот. Она переделана была в длинный ряд сараев, под которые приезжавшее из сел духовенство ставило своих лошадок.

* * *

Не так доверчиво и легко поддавалось новому строю епархиальной жизни городское духовенство, впитавшее в себя жизнь горожан, опутанных в своих взаимоотношениях сетью правил условной вежливости и холодной официальности, создающей ту атмосферу, в которой с виду все вершится гладко и прилично, но в которой задыхается натура сельского жителя.

Простота владыки шокировала ту часть духовенства, которая любит мыслить свое положение по военному рангу чинов и с удовольствием отмечает свое местонахождение на этой лесенке против ступенечки, на которой стоят полковники. Этим «духовным особам» нравится иметь и начальника, «который ни в чем не уступает губернатору». Они очень недовольны бывают смиренными архиереями и презрительно величают таковых за глаза «архиерейчиками», унижающими престиж духовенства в глазах светского общества. Приглашение владыки бывать у него запросто в первый раз встречено было сочувственно всем духовенством. Ничего против не имели и «духовные особы». Бывать запросто у высокопоставленного лица приятно. Но первое же собрание духовенства «за чаем» у своего архипастыря показало им, что бывать «запросто» — значило принять на себя подвиг действительного смирения, не по идее только, а на самом деле быть равным последнему сельскому батюшке; забыть свои «чины и ордена», распрощаться навеки с табелью о рангах и быть тем, что ты есть на самом деле.

«Духовные особы» обиделись, но наружно покорились, потому что владыка, хотя и держал себя скромно, но во всяком случае не походил на «архиерейчика». В нем чувствовалась сила. Зато около нового епископа быстро сплотился кружок из священников, которых не успело еще засосать житейское болото.

Душой этого кружка стал отец Григорий, одновременно сделавшийся преданным другом отца Герасима.

Случилось это так.

Однажды вечером отец Григорий, не дождавшийся владыки у себя на ревизии, сам пошел к нему.

У владыки отец Григорий застал многих священников. Тут же был и отец Герасим. Последним обстоятельством отец Григорий, знавший отношение отца Герасима к прежним архиереям, был немало удивлен.

Шум голосов наполнял архиерейский зал. Лились непринужденные беседы.

Владыка вполголоса разговаривал о чем-то с отцом Герасимом.

Воспользовавшись удобным моментом, отец Григорий овладел вниманием владыки и стал обрисовывать ему религиозно-нравственное состояние городского общества.

Отец Григорий ожидал встретить со стороны владыки самое горячее сочувствие своим скорбям об упадке религиозности в обществе. К своему удивлению, он заметил, что владыка как будто не с должным вниманием относится к его речам; в двух-трех местах разговора владыка ласково, но как-то слишком уж шутливо, взглянул на отца Григория; последнему это не понравилось. Отец Григорий справедливо полагал, что к таким серьезным вопросам можно относиться только серьезно. Шутливость тут неуместна. А если владыка шутит, то значит, он не представляет себе той серьезности вопроса, не видит той глубокой опасности, которая грозит религии.

Отец Григорий потерял спокойный тон и взволнованно заметил епископу: — Ваше Преосвященство, мы переживаем слишком серьезное время. В обществе кризис религиозного самосознания. И нужно быть наивным, чтобы не видеть, какая опасность грозит религии. Нужно дорожить каждой минутой, каждой секундой. Если духовенство проспит этот момент, оно будет очевидцем полного уничтожения религии. И теперь уже религия сильно падает в народе.

— И пусть падает, пусть падает... — опять шутливо улыбнулся владыка.

Отец Григорий посмотрел на епископа, широко раскрыв глаза.

С лица владыки сбежала вдруг улыбка. Глаза метнули огнем, и он глубоко серьезно произнес:

— Религия падает и слава Богу. Скорей бы только. И она упадет, потому что Господь не оставил еще Россию и силен Он вновь восстановить в ней святую православную веру...

— Из ваших слов, владыко, я вижу, что вы глубоко различаете «веру» и «религию». Какая же между ними разница? — с недоумением спросил отец Григорий.

Но владыка опять впал в шутливое настроение.

— Видите ли, вера это — «дам тебе я на дорогу образок святой», а религия — «в честь того-то или в память такого-то события соорудили образ и поставили там-то»... Подумайте-ка, почему это у нас в одно время на всех почти вокзалах и в присутственных местах ставили иконы все одного и того же святого? Разгадайте это, тогда и поймете разницу между верой и религией...

Отец Григорий понял намек владыки и грустно задумался.

— И слово-то какое нехорошее, — продолжал владыка, — «религия»... Совсем не христианское слово. Языческое это слово и в христианство оно внесло языческие понятия... — А о вере православной не скорбите, — улыбнулся владыка отцу Григорию, увидев его задумчивость, — больше имейте веру в промысел Божий. Мы исповедуем, что руководимы Духом Божиим. Наша боязнь за дело Божие в мире — результат нашей расслабленности. Бодрей же и радостней работайте и гоните от себя искушение. Работайте и в одиночку, каждый в своем приходе, и все вместе, делясь друг с другом своим опытом и помогая друг другу. Вот вы, например, сейчас могли бы оказать большую помощь отцу Герасиму в устройстве его прихода. Вы, отец Герасим, познакомьте со своим делом отца Григория. У него состоятельные прихожане, он привлечет их, и с материальной стороны ваше дело будет обеспечено.

— А за дело, — обратился владыка к отцу Герасиму, продолжая прерванную беседу с ним, — принимайтесь завтра же. Земля уже есть... город уступает. Временно пользуйтесь моей летней дачей и находящейся там церковью. Отец Павел будет вам по этой части хорошим помощником. Очень рад, что он бывший ваш товарищ...

— Что скажете? — повернулся владыка к подошедшему к нему сельскому батюшке и отошел с ним в сторону. Батюшка о чем-то заговорил, оживленно жестикулируя.

Отец Григорий и отец Герасим вступили в разговор о деле, про которое упомянул владыка.

Отец Герасим рассказал подробно обо всем, передав и беседу владыки с ним в памятную для него ночь.

В самой атмосфере архиерейского зала, в словах епископа, в рассказах отца Герасима о «деле» чувствовалось что-то бодрое, жизненное, радостное... И отец Григорий всей душой откликнулся на это новое веяние.

Глава тринадцатая

Много труда стоило отцу Герасиму собрать всю городскую бесприютную бедноту к себе в церковь. Если бы не добровольцы из среды ночлежников, взявшиеся помогать отцу Герасиму, ему едва ли удалось исполнить желание владыки. Сильно помогло и то обстоятельство, что все почти оборванцы хорошо знали отца Герасима, по-своему любили его и при случае старались выразить ему благодарность. Из уважения к отцу Герасиму они с удовольствием дали слово собраться к нему в церковь в назначенный день.

Больше всех суетился Федотыч. Он обегал весь город, перебивал в ночлежках, обошел углы, в которых жили кандидаты на ночлежку, и всех убедительно просил «беспременно» пожаловать к батюшке отцу Герасиму.

Наконец отец Герасим получил возможность сообщить владыке, что все готово.

В назначенный день церковь отца Герасима представляла необычайное зрелище. Со всех концов города сползались к ней рваные, драные, нищие, бедные мужчины и женщины. Одни шли, неестественно гордо поднимая голову, презрительно поглядывая на встречную публику. Другие — развязно помахивая обломанными тросточками, и при случае приставали к прохожим со «скромной» просьбой, всегда начинавшейся неизменным обращением: «Коллега, одолжите бывшему студенту на ночлег». Некоторые, как бы боясь дневного света, пробивались сторонкой. Большинство же шло устало сторбившись, уныло переплетая ноги и уставив вперед тусклый полубесмысленный взгляд.

Приходившие становились в церкви то в кучки, то в одиночку, а наполнив церковь, все слились в одну тесную толпу. Впереди стояли «бывшие студенты». Одиночки разместились по углам. Женщины стали вперемешку с мужчинами. Ближе к выходу приютились, выглядывая тихо и забито, жильцы углов и сырых подвалов.

Кое-где среди толпы затерялись действительно несчастные: бывшие раньше людьми, занимавшими общественное положение, дошедшие до положения ночлежников или вследствие каких-либо несчастных случаев, или при помощи злоупотребления спиртными напитками.

Позади всех стояла Прасковья, жена церковного сторожа Еремы.

Сам Ерема, дождавшийся—таки случая проявить свое усердие, в торжественно праздничном настроении стоял на колокольне, держась за веревочки колоколов, готовый встретить архиерея трезвоном.

Федотыч услужливо суетился возле отца Герасима.

По церкви шел тихий гул голосов. Настроение у всех, благодаря необычности обстановки и чрезвычайности случая, было приподнятое. Публика чувствовала себя не в своей атмосфере.

Но вот, робко звякнули маленькие колокольчики, смелей присоединились к ним средние, басисто загудел большой, и веселый трезвон разнесся по воздуху.

В дверях церкви показался архиерей. Толпа всколыхнулась.

Владыка прошел к амвону. Он был в черной поношенной рясе со шляпой в руках. Вместо архиерейского посоха в его руках была простая высокая палка.

Помолившись перед иконостасом и повернувшись затем лицом к ночлежникам, владыка стал на амвоне, опершись на палку, и тихо, но словно на всю церковь сказал:

— Здравствуйте, братие!

В передних рядах переступили с ноги на ногу, в недоумении — ответить или нет на приветствие архиерея. Задние приподняли головы и насторожились.

— Вы — дети мои, — продолжал владыка, — вас мне вручил Господь Иисус Христос. За вас я буду отвечать пред Ним на Страшном суде. Что же отвечу Ему, если я не знаю ни вас, ни вашей жизни? Вот почему я пришел к вам. Я хочу узнать вас и вашу жизнь и, узнавши, сделать для вас все, что могу, что велит мне мой долг. Послушаете или не послушаете меня — это ваше дело. Тогда я уже не буду отвечать за вас. Сами будете отвечать за себя. Скажите же мне, как вы живете? Хороша ли ваша жизнь? Довольны ли вы своим положением?

Владыка замолк, ожидая ответа.

Кто-то тяжело и недовольно вздохнул. Один из «бывших студентов», стоявших поближе к архиерею, кашлянул в руку и, стараясь принять почтительную позу, проговорил:

— Жизнь плохая, Ваше Преосвященство. Ряды шевельнулись. Послышалось кашлянье, сморканье и, наконец, раздались отдельные голоса:

— Что уж за жизнь! Хуже быть не может.

— Не жизнь, а каторга!

— Арестантам лучше живется!

Женщины кое-где стали всхлипывать. Из середины выдвинулась чья-то кудлатая голова и, заглушая остальные голоса, грубо обратилась к архиерею:

— Сами видите, какая жизнь... Чего еще тут спрашивать.

— Я-то вижу, — вздохнувши, ответил владыка, — и думаю, что, действительно, хуже вашей жизни не может быть. Но дело в том, что кто живет худой жизнью, часто не сознает того и не ищет лучшей. Да и сейчас, хотя все вы сказали, что жизнь ваша плохая, скверная, но все ли ясно сознаете, насколько именно плоха. Иногда из вас многим кажется, например, что жизнь плоха потому, что нет ни хорошей одежды, ни сносной пищи, ни теплого угла, ни копейки денег, — но что стоит только все это достать, и жизнь покажется хорошей. А я называю вашу жизнь плохой не потому только, а потому, что она ведет к гибели. Вы гибнете с каждым днем, с каждым часом, как гибнут, например, деревья без солнечного тепла и без дождя. Укажу хотя бы вот на вас, — владыка указал на одного ночлежника. — Ну, на что это похоже? В лице ни кровинки. Кожа уже не бледная, а зеленовато-желтая. Глаза впали, живот висит мешком, руки трясутся; росту — аршина полтора всего. Долго ли вы проживете и счастливым ли вы себя назовете, если даже сейчас вам дать одежду, дом и денег сколько угодно? Все равно вы будете несчастным, все равно у вас не будет ни радости, ни счастья. Говорю по опыту. Ведь не один вы гибнете, не один вы жалуетесь на жизнь. Клянут часто и богатые, и ученые, и знатные, потому что и они гибнут, и разница между ними и вами только в том, что вы гибнете, как былинка в поле, а они — как цветок в оранжерее. Вот почему я не только вашу жизнь, но и жизнь очень многих людей называю плохой; правду ли я говорю?

— Правду, правду... Это верно! — загудела толпа и, колыхнувшись вперед, окружила епископа.

— Что же вы теперь будете делать? Неужели продолжать вести такую жизнь? Ведь это же не жизнь, а одно мученье. Голод, холод еще ничего, а легко ли переносить презрение от людей? Вы ходите по городу, как чужие. Никто не обернется к вам с лаской или любовью.

Самые добрые спешат сунуть вам в руку пятак, чтобы только вы ушли от них скорей. И в мыслях даже нельзя представить чтобы кто-нибудь из горожан, встретившись с кем-нибудь из вас, пожал бы ему руку и сказал: «Здравствуй, брат!» — и позвал бы его к себе в гости выпить хотя бы чаю. Люди отделили вас от себя. О скотине и то заботятся. На собак, что по улице бегают, ошейники надевают, чтобы не пропали, а о вас никто и не справится, если пропадете. Отверженные вы... Понимаете ли вы это?..

Владыка говорил медленно, тяжело дыша и отчеканивая каждое слово, и слова его падали на душу, как тяжелый свинец.

Толпа угрюмо молчала.

Остановился и владыка. Положив обе руки на посох, он поник головой и в раздумье стал смотреть на землю.

И все свесили головы. Каждый думал про себя свою тяжелую думу.

В церкви водворилась гнетущая тишина.

— Но я пришел не раны ваши растревлять, — подняв голову, громко заговорил снова владыка, — я пришел сказать вам, что есть другая жизнь, которая доставляет человеку только радость и счастье и, живя которой, человек не к гибели идет, а к вечной жизни. И пришел я сказать вам, что такая жизнь доступна и вам, что если вы послушаетесь моих слов и станете жить тою жизнью, которой я буду учить вас, то вот вы, например, (владыка опять показал на того же ночлежника) из желто-зеленого превратитесь в румяного, из слабого в сильного, из больного в здорового, из неспособного в умного, а тогда само собой будет у вас и хороший дом, и деньги, потому что умный и здоровый человек извернется из каких угодно тяжелых затруднений. И все вы, жалкие, чахлые, никому не нужные люди, превратитесь в свободных, православных граждан, и будете тогда вы всякому и брат и сват, и всякий захочет быть знакомым с вами. Мало того: вы избавитесь от всех болезней и страданий, от которых не могут избавить людей деньги. Но и это не все. Слушайте все, кто имеет уши, чтобы слышать! (Голос архиерея загремел.) Слушайте, чего вы достигнете, если будете жить жизнью, которой я вас научу: вы почувствуете в себе, что с каждым днем будете идти не к гибели, а к вечной жизни, то есть каждый будет сознавать, что не сможет он умереть, смерть ему будет представляться невозможной, а когда стукнет известный срок, придет старость, склонится, как спелый колос к земле, и захочется ему, как спелому зерну, поскорее лечь в сырую землю, — тогда ляжет он в нее без страданий, без болезней, без страха, но с радостью и весело, и хотя схоронят его, он все-таки будет чувствовать себя живым, потому что не умрет, а будет жив; живым уйдет из своего тела, и хотя для нас будет невидим, но сам себя будет и видеть, и чувствовать, и сознавать живым. Хотите ли вы такой жизни? Можете ли вы уверовать в нее? Можете ли вы поверить в то, что она достижима силою Господа нашего Иисуса Христа, Который первый положил начало на земле такой жизни, научил людей этой жизни и дал людям силу достигать ее? Спрашиваю я вас, можете ли уверовать в то, что все, чего бы вы только ни просили у Бога, Он даст вам? Можете ли?..

Голос владыки оборвался. Последнее слово его пролетело по церкви криком, и затем все замерло...

Что-то грохнуло назад. Послышался раздирающий крик. По полу рассыпалась мелкая дробь ударов ногами. Кто-то упал, бился на полу и выкрикивал:

— Ай... ай... Ох... Не надо... Сыне Божий... Т-у... ай, дьявол... дьявол... гуу...

От неожиданности толпа, как испуганное стадо, шарахнулась к амвону, но оттуда раздался мощный голос владыки:

— Стойте! Что случилось?

Властный окрик моментально успокоил всех. Из стоявших возле владыки кто-то проговорил: — Должно быть, кликуша какая...

— Больная... жена церковного сторожа... припадочная, — пояснил владыке отец Герасим.

Возле кликуши очистилось место. Она продолжала биться и кричать. Растерянный Ерема стоял возле жены, не зная, что предпринять.

— Приведите ее ко мне, — сказал владыка. Из стоящих вблизи Прасковьи, кто был посильнее, подхватили ее на руки и понесли к амвону.

— Дайте святой воды, — обратился владыка к отцу Герасиму.

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа! — владыка благословил Прасковью и обильно трижды окропил ее святой водой.

— Успокойся, дочь моя! Встань!

Прасковья нехотя повиновалась. Она приподнялась и дрожащая стала перед епископом. По лицу ее текли капли святой воды.

— Вытри лицо, — повелительно сказал владыка. Отец Герасим вынес из алтаря полотенце.

— Наболела у тебя душа. Тяжко страдаешь ты... Иди сюда, скажи мне, какое у тебя горе, — ласково обратился владыка к Прасковье и, отойдя на клирос, остановился возле аналоя.

Разбитой походкой, волоча слабые ноги, Прасковья подошла к архиерею.

— Братие, отстранитесь, станьте подальше, — обратился владыка к народу.

Толпа отступила в мистическом страхе и издали с глубоким любопытством следила за действиями архиерея.

Владыка стоял, полунаклонившись над аналоем. Прасковья, продолжая временами всхлипывать, что-то передавала ему. Через несколько минут владыка позвал к аналою и Ерему...

* * *

Прошло с четверть часа. До толпы долетал лишь полусшепот архиерея, Еремы и Прасковьи. Слов нельзя было разобрать. Наконец владыка благословил мужа и жену и вслух произнес:

— Идите с миром и делайте то, что я сказал вам. Если исполните — исполнится и желание ваше...

Ерема спускался с амвона с покрасневшим лицом и с каплями пота на лбу. Прасковья шла спокойно, лицо ее как будто посветлело от какой-то внутренней радости.

Что-то случилось и, очевидно, хорошее. Толпа почувствовала это и снова тесным кольцом окружила архиерея, вернувшегося на свое место.

— Я сказал вам, что силою Господа Иисуса Христа человек может получить просимое. Они попросили (владыка показал на Ерему и Прасковью) и получают, чему свидетелями будете вы сами. Но получают только тогда, когда будут жить тою жизнью, к которой я зову вас. Послушайте же и вы меня: идите к этой жизни, если не хотите окончательно погибнуть. Многого я не требую от вас. На первый раз я только прошу вас соединиться в одно общество и отдаться нашему руководству, делать то, что мы вам будем говорить. Можете ли вы сделать это? Согласны ли вы?

— Можем, можем! Согласны!

— Так составьте же все вы одно общество, один приход. Как это все можно устроить, как перейти от вашей нынешней жизни к жизни новой, в этом подробно наставят вас отец Герасим и отец Павел, которых я поставлю вам пастырями. Они будут руководить вами. Но им нужен помощник. Вы сами выберете его сейчас же. Кого бы вы желали выбрать?

Толпа оживленно загудела. Через несколько времени послышались ясные голоса:

— Атамана! Атамана! Яшку-атамана!

«Яшка-атаман» известен был почти всему городу. Ловкий и умный бродяга, на которого давно точила зубы полиция, но изловить которого никак ей не удавалось, благодаря прямо-таки гениальной способности Яшки выворачиваться из каких угодно трудных обстоятельств и всегда выходить сухим из воды. Яшка считался предводителем многих воровских шаек и вообще отличался организаторскими способностями. Ночлежники и уважали его, и побаивались. Привыкши видеть Яшку всегда во главе, ночлежники и здесь подали за него свой голос. Но из толпы выделился какой-то старичок, очевидно, бывший крестьянин. Пробравшись вперед, он встал возле архиерея и сурово обратился к толпе:

— Яшку нельзя... Не такое здесь начинается дело. Здесь святое дело. Атаман — мастер на плохие дела. Сюда он не годится. Другого надо...

— Не надо Яшку, не надо! — крикнули из толпы.

Голоса разделились. Поднялся спор. Виновник спора стоял в углу, опершись о стенку спиной и скрестив руки на груди. Он глядел на толпу мрачно и исподлобья.

Владыка молчал, зорко вглядываясь в атамана.

Наконец он остановил спор и разъяснил, что прошлая жизнь человека не должна приниматься во внимание, и как на пример указал на апостола Павла, который раньше был гонителем Христа, а потом сделался ревностным апостолом. Слова архиерея, видимо, подействовали на Яшку. Он выдвинулся вперед и сам отклонил свою кандидатуру. — Не могу, — сказал он смущенно.

— Если бы ты сказал, что можешь, — возразил владыка, — то это свидетельствовало бы о том, что ты не можешь, а так как ты начал с оценки своих сил, то это показывает, что ты понимаешь, на какое дело выбирают тебя. Начни с сегодняшнего же дня и первым долгом вот что сделай: сегодня чтобы никто из вас не выходил на улицу. На пропитание вот примите пока от меня лепту (владыка вручил старосте деньги). Затем пошлите в город двух–трех купить пищи. Подкрепитесь здесь же и потом выслушайте отца Герасима, который объяснит вам все подробно, что нужно делать. А теперь помолитесь, чтобы Господь послал нам свое благословение для начала дела.

Владыка благословил отца Герасима начать молебен, а сам, став с народом, медленно и громко запел: «Царю Небесный...»

Дружно, хотя и нестройно подхватили ночлежники торжественный мотив молитвы и один за другим стали опускаться на колени.

* * *

— Владыко, — провожая архиерея, спросил отец Герасим, — каким образом вам удалось успокоить Прасковью и заставить так твердо уверовать в возможность исполнения ее желания? В моей жизни много было подобных случаев, и я бывал бессилён...

— В этих случаях всегда надо предлагать супругам пост и молитву и причащение Святых Тайн... Сей род тоже побеждается только молитвою и постом, а затем крайне необходимо...

Владыка наклонился к уху отца Герасима и неслышно говорил ему минут десять.

— Эту епитимию налагайте на таких супругов обязательно, — закончил свою речь владыка. — Грех этот вяжите. Разрешать же связанное нужно через разные сроки, смотря по обстоятельствам. Тут уж многое будет зависеть от вашей наблюдательности... Ну, идите, кончайте беседу...

Отец Герасим вернулся от архиерея, удивленный той глубине знания и понимания человеческой природы, которую обнаружил владыка в этих преподанных ему советах относительно совершения таинства исповеди.

Глава четырнадцатая

Весело шла в городе жизнь. Театры, летние и зимние, клубы, собрания, рестораны, сады... Одним словом, было все для того, чтобы дать горожанам возможность чувствовать все прелести жизни и проводить часы досуга в беззаботном веселии. И горожане, действительно, спешили наслаждаться жизнью. В садах постоянно гремела музыка, в театрах шли ежедневные представления. По улицам города с утра до поздней ночи летели породистые рысаки. Тротуары полны бывали публики, щеголявшей шикарностью костюмов.

Одно только обстоятельство портило часто приятное настроение веселому горожанину. Стоило ему выйти из своей квартиры на улицу после сытного, например, обеда, с приятной целью найти уголок для веселого времяпрепровождения вечерних часов, как сейчас же к нему протягивалась чья–нибудь исхудавшая рука, часто с обрубленными пальцами, и раздавалось тоскливое и унылое: «Подайте милостыньку Христа ради». И беда, если обыватель по своему добродушию или хотя бы ради того, чтобы отделаться от

неприятного соседства, вынимал из кармана пятак и протягивал его просителю, тотчас же со всех закоулков к нему сбегались с десяток других нищих, назойливо требовавших и себе подачки.

Нищие, бедняки, босяки, калеки (и настоящие, и симулянты), всякого рода мелкие воришки и нахальные хулиганы одолевали горожан хуже летних комаров и мошек. Напрасно на борьбу с этим злом выступали всякие комитеты, общества и попечительства. Напрасно боролась с ними и городская полиция. Несмотря на все принимавшиеся против нищенства меры, нищих в городе прибывало и прибывало, и с каждым годом они становились все назойливее.

И вот в одно прекрасное время жители города заметили почти полное исчезновение этого беспокойного и неприятного элемента. Улицы были очищены, как бы по мановению волшебного жезла. Факт этот был настолько замечен, что сразу бросился всем в глаза, и отмахивавшиеся прежде от нищих горожане теперь вдруг заинтересовались ими, а более любопытные пустились даже за ними в поиски.

Нашли босяков за городом, возле архиерейской дачи.

Нашли и подивились.

На обширной площади, примыкавшей к архиерейской даче, копошилось человек пятьсот мужчин, женщин и детей разного возраста. Одни копали канавы, другие таскали строительные материалы, третьи уже намечали к постройке целый ряд больших и маленьких домиков.

Зрелище было необычное.

По городу пошли разговоры о каком-то новоорганизуемом босяцком поселке.

Пока слухи ходили по городу, работы на поселке деятельно продолжались. Отец Герасим, не покладая рук, работал над устройством нового, задуманного владыкой, прихода. Больше всего приходилось отцу Герасиму тратить свои силы на поддержание того воодушевления, которое пробудил в ночлежниках владыка. Тут-то великую услугу оказал отцу Герасиму его дар красноречия. Слова его производили магическое действие на толпу, потому что теперь они не были красивыми лишь, но пустыми звуками. Перед всеми впереди поставлена была прямая и ясно заманчивая цель. Под ногами у всех была твердая почва, по которой нужно было только идти, чтобы достигнуть цели. И люди пошли, но, идя, уставали, и в таких случаях неопределимую услугу оказывало бодрящее жизнерадостное слово.

Отец Герасим вдохновлял словом. Отец Павел — топором и лопатой. Могучая фигура его появлялась то на одном конце поселка, то на другом. Зорко следил он за работами, выслеживая, где начинали ослабевать работавшие руки, и спешил туда со своим топором, ломом или лопатой, и дружной раздавались удары слабосильных работников вслед за могучими ударами сильных рук отца Павла.

Но не все способны были на восприимчивость вдохновения. На некоторых слабо действовали слово и пример. Такие время от времени дерзали даже буяннить. Тогда на выручку являлся «атаман». Он мрачно подходил к буяну, угрожающе клал ему на плечо свою сильную мускулистую руку и устремлял на него взгляд своих черных,

пронзительных глаз, и часто одного этого жеста достаточно было, чтобы моментально умирить буяна, знавшего, по опыту прошлой жизни, что «атаман» шутить не любит.

Одновременно с работами на поселке шла деятельность в городе. Тут трудился кружок священников во главе с отцом Григорием. Они изыскивали капитал на производство работ. Одушевленными проповедями, жгучими воззваниями, обносом по церквам кружек, собирались, копейка за копейкой, необходимые суммы и под видом беспроцентной ссуды вносились в общественную кассу «Новодуховского прихода», как назван был выраставший поселок.

На работы в поселке уже раз пять наведывался владыка. В его приезд работы моментально приостанавливались. Все сбегались к архипастырю. Архиерей становился на бревно или на кучу кирпича и начинал беседу. Через полчаса он уезжал, а работы после его отъезда продолжались с удвоенной энергией.

Земля, приобретенная для поселка, была разбита на участки. На каждом участке предполагалась к поселению одна семья; для каждой семьи возводился отдельный домик. И домик и участок должны были перейти со временем в полную собственность поселенцев. Пока же все было общее, и все работы производились сообща и притом собственными силами и своим умением.

Работы ежедневно начинались по звону колокола и после сообща пропетой под открытым небом молитвы.

На ночь все работавшие находили себе приют в архиерейской даче. Почти каждый раз, окончивши рабочий день, отец Герасим спешил к архиерею, и каждый раз владыка встречал его вопросом: «Ну что, как дела?»

Начинался доклад: «Работают усердно, воодушевление не ослабевает. Митюхин и Кудряш бросили совсем пить. Ванюха ночью убегает иногда, но наутро возвращается. Аксениха перестала кашлять. Никитичне сделали операцию. Митюха бросил хандрить и тоже принялся за работу...» — и так далее...

— Ну, слава Богу, слава Богу! — с радостным лицом отвечал владыка.

— Новички прибывают, Владыко, — продолжал отец Герасим, — как с ними быть? Со стороны идут, с деревень... Просят принять в приход. Отказывать — жалко, а принимать всех — ни земли, ни средств не хватит...

— Никому не отказывайте. Только сделайте так, чтобы каждый раз принимала вся община, а не один вы. Земли прикупим еще... А о средствах не беспокойтесь: во-первых, нам должна оказать субсидию государственная казна, потому что, возрождая этих несчастных, мы даем в будущем государству исправных плательщиков и правоспособных граждан. Затем, в городе не осталось ни одного ночлежника, стало быть, все благотворительные учреждения, которые наполнены были ими раньше, должны передать нам свои капиталы. За избавление горожан от «беспокойного элемента» город тоже должен выдать нам пособие. Можно будет далее, в случае крайности, чрезвычайными мерами заставить состоятельных христиан выполнить заповедь Христа о любви к ближним. Тут я не остановлюсь ни перед чем. Если не дадут нам золота и серебра из своих карманов, так я благословлю духовенство взять его в церквах с икон и с престолов. Перед самым праздником Пасхи я запру церкви и колокольни и не отворю их, пока христиане не выполнят своего первого и священнейшего долга. Поверьте, что это

молчание на святой Руси пасхальных колоколов заставит востепениться сердце самого черствого атеиста, потому что оно будет страшнее мрачного молчания могил, ужаснее зловещего затишья перед бурей...

Но, думаю, паства моя не доведет меня до этого. Русский народ по природе благотворитель, по природе бескорыстен; среди него могут водиться толстосумы, но Ротшильдов он не родит, не настолько он опоганился... Ведь мы его еще не звали к жертвам... Веками приучали мы своих прихожан жертвовать только себе на ризы, на колокола, на масло, на ладан, на свечи да на прокормление монахов... и только платонически зывали о милостыньке нищим. Направьте это чувство русского народа по должному руслу, и он явит вам чудеса, рассудку вопреки и наперекор законам эволюционного развития политико-экономической жизни западных народов. Ну, а пока народ откликнется, возьмите мое жалованье.

— За этот месяц все уже взято, Владыко, — взирая с уважением на бескорыстного святителя, отвечал отец Герасим.

— Возьмите авансом в счет будущего... Ну, а отец Павел как себя чувствует?

— Прекрасно. Работает запоем...

— Семью свою еще не привез?

— Нет еще. Увлекся работой.

— Скажите, чтобы ехал за семейством.

— Ряска—то у него совсем поистрепалась, — добавлял грустно владыка и однажды, порывшись в своем гардеробе, вытащил свою рясу и велел передать ее отцу Павлу.

Доклады отца Герасима не всегда носили утешительный характер. Временами отец Герасим приходил несколько встревоженный и сообщал, что работы подвигаются слишком медленно; народ все слабосильный, да и хороших знатоков дела между ними мало, — нельзя ли поэтому нанять на подмогу рабочих и мастеров, если окажется лишняя сумма денег?

— Ни—ни... Боже вас упаси! Пусть каждый камешек, каждая щепочка положена будет их собственными руками, в противном случае они столько же будут дорожить своими постройками, сколько дорожили городскими ночлежками и богадельнями. Человек дорожит только тем, что устроено его собственными руками и трудом. Что легко и даром дается, тем человек не дорожит. О красоте построек не заботьтесь: дитя хоть криво, да отцу—матери мило... Ну, а еще что? — Афанасьич с Кудлатым обнаруживают намерение вернуться к прежней бродяжнической жизни...

Владыка задумывался и озабоченно переспрашивал:

— Афанасьич с Кудлатым, говорите, назад тянут?

— Да, Владыка. Боюсь, как бы и другие за ними не потянулись.

— Они что же, собственно, говорили? Не высказывали, что именно тянет их назад?

— Прямо ничего не говорят, а заключаю из того, что стали лениво работать.

— Ну, это, может быть, только по непривычке к труду. Отвыкли ведь они от труда в босячестве. Работа им, очевидно, непосильна. Тут есть опасность. Только посильный труд и оздоравливает человека. Ни их, ни других не допускайте до переутомления. А потом вот еще что сделайте: на даче есть источник, вода холодная, ключевая. Сделайте немного пониже большой водоем, освятите воду и заставляйте их каждое утро перед выходом на работу окунаться в воде и пить из источника. Это крепит организм и лень пройдет. Лень ведь это показатель расстройства организма. Да всех почти заставляйте делать это. У них у всех организмы расшатаны до невозможности. Исключения редки, насколько я заметил. По моему мнению, теперь надо бы всем дать роздых помимо седьмого дня в неделю. Кстати, скоро два праздника: в субботу и в воскресенье. В четверг после полудня приостановите работы, до вечера они пусть все омоются и почистятся, пятницу и субботу поговееют, а в воскресенье причастятся Святых Тайн. Такие говения устраивайте почаще. На первых порах ежемесячно. На празднике устройте крестный ход из дачной церкви на место работ. По вечерам по-прежнему продолжайте беседы или чтения. Никаких программ не придерживайтесь. Говорите по вдохновению...

Отец Герасим исполнял советы архиерея и снова шел к нему за новыми. Жизнь кипела, и каждый день случались явления, разобраться в которых отец Герасим хотя и мог, но для большей уверенности в своих действиях спрашивал мнения владыки.

Глава пятнадцатая

Была весна. Было и все, что чарует весной человека: и теплое солнце, и щебетанье птичек, и зеленеющая травка, и прозрачная синева ясного неба.

По Волге красавцы-пароходы совершали свои обычные рейсы. На одном из пароходов ехал отец Павел. Он вез семью на новое место своей службы.

Матушка отца Павла, в первый раз увидевшая Волгу на таком большом протяжении, сидела на палубе, любуясь видами волжских берегов. Возле нее резвились четверо ребятишек.

Сам отец Павел, веселый и жизнерадостный, прохаживался по палубе.

— Смотрю я на тебя и удивляюсь, — обратилась матушка к отцу Павлу, — не понимаю, чему ты радуешься? Как будто Бог знает какой богатый приход получил! Босяцкий поселок, да еще двухштатный причт. На хлеб-то, по крайней мере, будет хватать? Эх, Павлуша... Напрасно ты тогда погорячился. Ну что тебе стоит потерпеть немного, отсидеть в монастыре наказание... Теперь сидели бы себе спокойно на прежнем месте. Хороший ведь то был приход...

— Сидели бы спокойно... Это еще вопрос. А о том ты и не подумала, что я мог спиться окончательно, пока сидел бы в монастыре. Приятная разве у тебя была бы жизнь с пьяницей-мужем, даже при сытости и довольстве. Да и служба — службе рознь. На иной службе всю жизнь впроголодь рад прожить, голову свою положить готов, потому что сама служба эта дает человеку такое счастье, какое не могут дать ему и ротшильдовские миллионы.

— Так у тебя—то какая же «иная» служба может быть? Ведь священником же будешь и здесь. Также будешь служить вечерни, обедни, крестить, хоронить, проповеди читать, ну разве в школе вот еще ребятишек обучать...

— Так же, да не так, — задумчиво проговорил отец Павел и, подойдя к скамейке, на которой сидела матушка, сел рядом с ней. — Ты помнишь, Маша, нашу соседку Марью—кабатчицу, что хотела все перенять у тебя твое умение разводить хозяйство. Она тоже ведь все делала так же, как и ты: и корм давала, и пойло делала, и подстилку надстилала, а что, у нее разве то же получалось, что и у тебя? У тебя корова чуть не два ведра молока давала, а у нее такая же корова, той же породы, двух кувшинов не надаивала. Ты разведешь по весне цыплят полон двор, осенью—то у тебя полон амбар всякого копченья, а у нее к осени ни одного цыпленка: за лето все повыводхнут...

— Ну, так тут понятно: она хоть и перенимала у меня, да не умела как—то сделать все как следует. Приготовит, например, корове пойло по моему рецепту, а даст его не вовремя, или еще что—нибудь не доглядит, поэтому и результат получался разный...

— А у нас разве не то же самое? Ты вот сказала, что и на новом приходе я ведь священником же буду... Да, теперь я действительно буду священником... А раньше, знаешь, кем я был? Наподобие вот твоей Марьи—кабатчицы... С виду, посмотришь, все как следует сделал, а на деле — или не вовремя дал, или не доглядел чего—либо. Родится, например, у кого—нибудь здоровый крепкий ребенок; в 18 лет совсем он уже парень в соку, кровь так ходуном и ходит... Тут бы и благословить его на брак, а у нас: нет, погоди. По метрике ты несовершеннолетний. Ну, а пока по метрике совершеннолетие выйдет — парень—то переспевает, а то и совсем истаскается. А другой и в тридцать лет бывает малоспособен к браку, потому что порастратил свои силы. Такого надо бы сначала монахом сделать, чтобы поучился воздержанию, да восстановил свой организм, а потом уже венчать. А мы, как пришел, так и венчаем, потому что документы все в исправности: законных препятствий, стало быть, никаких нет. Или еще пример: захандрил человек, захирел... Тут бы скорей его на исповедь, да повыисповедать как следует, разузнать все причины, наставить да причастить. А ты совсем и не доглядываешь за ним, потому что не считаешь это своей обязанностью. Если же сам человек придет к тебе, отошлешь его: «Ты что, мол, больной, что ли? Придет пост, тогда и причащайся». Так вот: там «не во время», тут «не доглядел» или что—нибудь «не так» сделал, а от этого и получается то, что мы и крестим, и венчаем, и исповедуем, и причащаем, а люди все остаются такими же, как и были... А делали бы все это зная да умеючи, и результат был бы совсем другой...

— Тебе, Павлуша, надо было в академии курс кончить, тогда бы ты все это раньше знал. Семинария—то, видно, не всему учит...

— Нет, Маша! Ни семинария, ни академия тут не при чем. Это знание не учением дается. Видал я в городе академистов—священников, магистров и даже докторов богословия. Страх, какой все ученый народ. А толку у них тоже мало выходит. Даже меньше, чем у нас. У нас народ хоть в церковь ходит, а у них и в церковь ходить перестали. — Видно, мало проповедуют. Не учат народ, как следует.

— Этого сказать нельзя... И учат, и проповедуют, и чтения разные устраивают, лекции читают, беседы ведут... Некоторые очень даже хорошо проповедуют. Выйдет иной на амвон, как начнет говорить — инда слеза прошибает. На что уж наш брат, духовенство, ко всяким проповедям привычно, а и его иной раз проймет. Ну, а толку—то и от этих проповедей мало. Слова словами так и остаются. Да и как им не оставаться, в самом деле? Ведь чтобы толк был от слова, надо его исполнять, а разве человек может его исполнить?

Ты сама посуди. Возьми в пример хоть нашего знакомого Анемподиста Федоровича, начальника станции железной дороги, который к нам в церковь приезжал. Бывало, придет к обедне, а я возьму да и прочитаю проповедь о бескорыстии или там о любви к ближнему, а после проповеди старосту к нему с тарелочкой в пользу храма мол. И как обидно бывало иной раз, когда увидишь, что на тарелочке всего двугривенный лежит. Ну, думаешь, и скряга же. А ведь если рассудить, как следует, то и выйдет, что Анемподист Федорович и в самом деле больше двугривенного—то не мог дать. Ты высчитай—ка: жалованья он получал восемьдесят рублей в месяц; из них сорок рублей на стол выходило. Человек он малокровный, да вдобавок еще катаром желудка страдал. Можно, конечно, и за десять рублей в месяц стол иметь, щи да кашу есть, да ведь от такого стола Анемподист Федорович через пять—шесть месяцев на тот бы свет отправился. Стало быть, ему для поддержания своего существования крайне необходим и повар, и питательный стол, и зельтерская или содовая вода. Жена у него тоже была не совсем здоровая женщина. Ни с детьми, ни по хозяйству сама не могла управиться: волей—неволей надо нанимать няньку. Одежду тоже ему надо ведь не какую—нибудь. Зимой, например, обязательно шубу, потому что если выйдет он без шубы, сейчас же простудится. На доктора, на акушерку, хоть на одну газетку — тоже денег надо? А теперь и скажи: много ли у него останется от жалованья? Поневоле ему приходится дорожить не только двугривенным, а даже медной копейкой. Теперь скажи: можно ли требовать от Анемподиста Федоровича бескорыстия и самоотвержения в пользу ближнего? Другими словами: можно ли требовать от него, чтобы он сел на борщ и кашу, а экономию от стола, от одежды и тому подобного отдавал другому, голодному? Ведь это значит посылать его на верную смерть. А зачем? Чтобы дать возможность жить другому? Бессмыслица какая—то: один должен умереть, чтобы жил другой...

— Ты, Павлуша, как побывал в новой епархии, совсем почти изменился и рассуждать стал как—то иначе... Я что—то не пойму тебя.

— И не поймешь, пока не переменишь своего взгляда на людей. Ведь мы как—то смотрели, ну, хотя бы вот на тех помещиков, что жили возле нашего села? Помнишь, сколько у них всякого народу было? Кучера, повара, лакеи, горничные, няньки, бонны, репетиторы, гувернеры... А жили—то как? Зимой — в город, а летом обязательно в Пятигорск или за границу, в Карлсбад ездили... Мы думали, что господам все это нужно так себе, для удовольствия, для наслаждения жизнью, ну и возмущались этим... Как, мол, им не грех наслаждаться жизнью, когда кругом народ вымирает! А на самом деле выходит, что все это господам крайне необходимо для поддержания жизни в себе и, если всего этого у них не будет, то они начнут так же помирать, как мрут крестьяне, когда у них нет куса хлеба...

— Ну, ты, кажется, заговорился, — улыбнулась матушка, — по—твоему выходит, что и модные шляпки, и театры тоже необходимы господам для поддержания своего существования?

— А то как же? Отбери у иной барыни шляпку, — ведь ты вместе с этой шляпкой, может быть, весь смысл жизни у нее отобрала. То она хоть над выдумыванием модных шляпок изошряла свою мыслительную деятельность, а тут без всякой работы для своих мозгов осталась. Ну и обессмыслится окончательно. И насчет театров тоже... Уничтожь—ка сразу все эти театры, клубы, рестораны и тому подобное. Ведь господа от тоски все повешаются или сопьются, как спивается наш мужик среди зимнего безделья, от безработицы.

— Нет, я с тобой не могу согласиться. Ты что-то странное говоришь... Ты, значит, оправдываешь тех, что пользуются всеми удобствами жизни в то время как другие голодают?

— Я, кажется, тебе ничего не говорил о том, оправдываю я их или нет. Я указываю только на факт, — говорю, что Анемподист Федорович не может жить без повара, без няньки, без зельтерской, а дальше и без репетитора, без Пятигорска, без пенсии и так далее, и что все это для него не роскошь, а крайняя необходимость. Заговорил же об этом, чтобы показать, что от Анемподиста Федоровича никакого служения ближнему, даже в размере двугривенного, нельзя требовать. А теперь скажу и то, что от него нельзя требовать и личного совершенствования. Чтобы человек мог совершенствоваться, для этого тоже кое-что нужно. Обыкновенно человек развивается через чтение книг. Подвижники совершенствовались, самоуглубляясь в размышления. Может ли Анемподист Федорович читать книги или размышлять? В потенции, конечно, может, а в действительности нет. Почему? Утром он встал, оделся, чаю напился и сейчас же на службу. На службе он до трех, до четырех часов. Пришел со службы, пообедал — он уже никуда не годен. Чтобы привести себя в пригодность для следующего дня, ему нужен отдых, покой, моцион, свежий воздух и так далее. Где уж тут ему книгу почитать или поразмышлять... И может случиться так, что под конец своей жизни Анемподист Федорович утратит и потенциальную способность мышления. И когда проповедник требует от Анемподиста Федоровича служения ближнему или личного совершенствования, он требует от него невозможного, а потому и проповедь остается безрезультатной. По этой же причине и на других людей проповедь не производит никакого влияния. Мы все ведь — и поучающие, и поучаемые — более или менее приближаемся к положению Анемподиста Федоровича...

— Но как же быть все-таки с голодающими-то?

— С голодающими?... А вот некоторые говорят: долой всех этих слишком дорого стоящих Анемподистов Федоровичей, — пусть их умирают, — а на их место поставить таких людей, которые, сидя на одном борще с кашей, могли бы делать то же самое дело. От таких будет оставаться и на голодных. Как, по-твоему, справедливо это будет?

— Пожалуй что и справедливо, только...

— Что только?

— Что-то тут не так... Не могу только сказать, что именно.

— Ну, так я сам тебе скажу, что именно... Дело в том, что и от тех людей, которые заменят Анемподистов Федоровичей, тоже ничего не будет оставаться голодающим. На борще с кашей они не долго посидят, а потом с роковой неизбежностью придут к положению Анемподистов Федоровичей... Все на свете ветшает, изнашивается, а содержать ветхое дороже, чем новое. Человек тоже изнашивается и не только лично, а, так сказать, и в поколениях. От обветшавших людей родится слабое поколение, а от последнего и совсем никуда не годное, а жизнь этому последнему поколению станет дороже по той причине, по которой всякому больному жизнь обходится дороже, чем здоровому человеку. Ведь только в улье рабочая пчела — одно, а трутень — совсем особая статья. А потому там пчеловод поступает рационально, когда, желая сохранить мед, убивает трутней. А к людям этот способ применить нельзя, потому что всякий человек с течением времени неизбежно становится трутнем, а пока сделается это для всех очевидным, он успеет наплодить потомство, о котором вначале очень трудно судить, что

из него потом получится — трутни или рабочие пчелы? Начнешь давить всех трутней — от человечества ничего и не останется.

— Но как же быть?

— А вот — тут-то и главный смысл нашего служения: мы должны обновлять ветшающее человечество. Из больного, вечно брюзжащего, мало способного к труду Анемподиста Федоровича сделать здорового деятельного жизнерадостного человека, который, поработав на службе 8–9 часов, не чувствовал бы усталости и мог бы еще, приходя со службы, часов 7–8 работать на себя, да при том обходиться и без моциона, и без зельтерской, а кушать борщ да кашу и чувствовать себя великолепно. Вот тогда и голодающим будет оставаться. Всем хватит.

— Так ведь, для этого доктором надо быть?

— Да, где нужно, там и доктором... В Ветхом Завете священники вместе с тем были и докторами. В наше время священник может не быть доктором: на это есть специалисты, но он обязательно должен знать, когда человека к доктору послать, а когда на исповедь позвать. И вот, где микстурой, где молитвой, где ножом хирурга, где проповедническим словом, а где и улучшением породы свиней, священник должен освободить человека из того моря «необходимостей», в котором захлебываются люди, — предварительно, конечно, сам освободившись от него, — а потом уже, дав, значит, человеку возможность двигаться, ведет его по тому бесконечному пути, о котором сказано: «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный»...

— А я думала, — задумчиво проговорила матушка, — что ваше дело только Богу молиться, да души человеческие спасать...

— Души спасать... — грустно повторил отец Павел и вдруг весело засмеялся.

— Ты чему?

— Да так... вспомнил семинарские годы. Бывало, соберемся и спорим друг с другом: докажи да покажи существование души в человеке...

— Что же тут смешного?

— Смешного, действительно, мало, а грустного много. Создали люди себе какую-то особую душу, богословскую, и стараются доказать ее существование. Ну, конечно, никогда ничего и не докажут...

— Ты опять что-то странное заговорил. Разве душу люди создали? Душу Бог создал...

— Верно. Только про душу, которую Бог создал, люди позабыли, а выдумали какую-то свою... Хорошо этот вопрос владыка разъяснял нам. Заходили мы раз к нему с отцом Герасимом. Разговорились. Так это у него просто все и ясно выходит. Не знаю, сумею ли я тебе передать...

Отец Павел задумался и, немного помолчав, спросил:

— Как по-твоему: в яйце есть петух?

— То есть, как это?.. Что за странный вопрос?

— Вот и вопрос о том, есть ли в человеке душа, тоже должен быть таким же странным. В яйце, конечно, нет петуха, но из яйца может при известных условиях вылупиться цыпленок, из которого потом может вырасти петух. Человек — это яйцо, и пока он — яйцо, он мало отличается от других высших животных. Его надо поставить под воздействие известных условий, и тогда в нем начинает развиваться душа, — человек превращается в свободное разумное существо. Это свободное разумное существо нужно развить в духа, освободить его из тела, как цыпленка из яичной скорлупы, и передать Богу, Который уже и довершит дальнейшее развитие человека. Вот это и значит «спасти душу человека».

Матушка молчала, видимо, вдумываясь в эти новые для нее речи отца Павла.

— Жутко становится, когда подумаешь, какая страшная ответственность лежит на священниках! — прервал раздумье матушки отец Павел. — Как назовешь ты мать, которая, хотя бы и по неведению, не доносит ребенка и родит его на свет малоприспособленным к жизни? Чувствуют такие дети, что в их мучениях повинны родители, и клянут их. Чувствуют инстинктивно и христиане, что их отцы духовные, породившие их святым крещением, отправляют своих чад на тот свет недоносками, мучатся и клянут их, обзывая презрительно «долгогривыми попами»...

Матушка продолжала думать. За последнее время ей пришлось испытать много новых впечатлений. И новая дорога, и новые речи отца Павла, и сам отец Павел, приехавший за ней после долгой разлуки как будто другим, тоже новым человеком, — все это вызвало в ней целое море мыслей, в которых она спешила разобраться.

Отец Павел пошел разыскивать забежавших куда-то детей.

— Возможно ли это? — спросила матушка отца Павла, когда он, вернувшись с детьми, опять сел возле нее.

— Что, возможно? — Да вот то, что ты говорил... создать из человека духа...

— Для человека невозможно. Поэтому-то и потребовалось сошествие на землю Сына Божия. Христос дал людям особую силу в дополнение ко всем, действующим в мире, и с тех пор это стало возможно... Этой-то силой и действуют епископы и священники...

— И в тебе есть эта сила? — оживленно спросила матушка, с любопытством взглянув на отца Павла.

— В священниках есть, — убежденно проговорил отец Павел, — но не всякий, надевший рясу, священник. И я, может быть, пока не священник. Я только поставлен во священники. Но теперь я верую, что в мире есть сила Божия и что человек может владеть ею, а потому, стало быть, я буду священником... Да, а вот сидел бы спокойно на прежнем приходе, так и превратился бы в Анемподиста Федоровича, и зельтерскую пил бы, и в Пятигорск пришлось бы ехать. А так как на все это нужны деньги, то и дрался бы со своими прихожанами из-за каждого пятака за требу...

Отец Павел опустил голову и стал смотреть на воду. Вода под взмахами колес парохода бурлила, кипела, вздымалась красивой волной. Волна бежала, резвясь и играя, а с неба солнышко слало ей свои теплые лучи и расцвечивало ее всеми переливами радуги.

Пароход быстро несся вперед, но мысли отца Павла опережали его. Вот он видит уже пристань... Радостный отец Герасим встречает его... Все сначала отправляются к владыке за благословением. Вот добрый, не забывающий свое духовенство и в мелочах жизни, всюду поспевающий владыка. Он ласково поздравляет с приездом, благословляет его семью... А вот, наконец, и Новодуховское. Кругом всё еще только начато... Подбегают «прихожане». Они веселые, ласковые, но... много, много еще надо, чтобы обратить их в «разумное Божье создание»...

Годы тяжелого, упорного труда предстоят впереди.

Но, Боже, как легок и радостен этот труд!

* * *

Не все предусмотрел отец Павел в своих забежавших вперед мыслях. На пристани встретил его не один отец Герасим: возле него с каким-то торжественным видом стоял Ерема. В руках он держал большой букет из полевых цветов.

Когда гости сошли на пристань, Ерема, радостно приняв у отца Павла благословение, важно подошел к матушке, вручил ей букет, и, вдруг покрасневшись, и широко улыбаясь, попросил новоприбывшую гостью не отказать в чести, пожаловать к нему в приемницы.

— Разве? — оживленно спросил отец Павел.

— Вчера... — продолжал улыбаться Ерема. — Бог дочку послал...

Отец Павел и отец Герасим многозначительно переглянулись.

Глава шестнадцатая

— Куда это вы, доктор, так спешите? — обратился отец Владимир к старому приятелю отца Григория, нагнав его на улице.

Доктор шагал в задумчивости, и оклик отца Владимира, видимо, оборвал ему нить каких-то дум. Нетерпеливо пожав руку отцу Владимиру, он полусмущенно-полусердито вскинул на него глаза и вдруг выпалил:

— На миссионерскую беседу!

— Куда? — удивленно переспросил отец Владимир.

— На ваше собеседование со старообрядцами. — Что это с вами случилось? Насколько мне известно, вы, мягко выражаясь, были не особенно большим любителем подобных вещей, — глядя на доктора с улыбкой, заметил отец Владимир.

— Век живи, век учись, батя! — уклончиво ответил доктор, вынимая портсигар и закуривая папиросу.

— Давно это вы так стали философствовать? Что-то не замечал я этого за вами раньше...

— Мало ли чего мы не замечаем. Тычемся носами в миры вселенной, как слепые кутята в пространство, а воображаем, что все знаем.

— А в действительности: «Знаю то, что ничего не знаю»...

— Так-то оно так... Только тяжело сознавать под старость то, что и ты получил эту сократовскую оплеуху человеческому знанию. Ну, пока молод, еще туда-сюда... Пожалуй, даже полезно мучиться этими «проклятыми» вопросами. А когда переболеет человек, остановится на чем-нибудь, составит себе этакое цельное, определенное мировоззрение и заживет в уверенности, что все впереди ясно да гладко, на всякий привет есть готовый ответ, тут уж даже обидно становится, когда кто-нибудь да и вобьет клинышек в твоё «цельное» мировоззрение. Поневоле потеряешь душевное равновесие...

— Вам-то кто ж вбил этот клинышек?

— Да ваш владыка...

— Вы были у него? Говорили с ним? Ну что же, убедил он вас в истинности христианства?

— Убедить не убедил, а призадуматься заставил.

— Интересно, чем же он на вас подействовал, при вашем безнадежно скептическом отношении ко всем источникам христианского вероучения...

— Да уж, конечно, не ссылками на Святое Писание.

— А чем же? Данными естествознания? — Не то... не то... На этом нас не поймашь. Знаем мы эти ваши богословские доказательства «от здравого разума». Строите там свои богословские системы, беря в основу положения, которые могут быть приняты только на веру, и делаете из них выводы, а потом уже, чтобы подтвердить свои выводы, выхватываете подходящие фактики из естественных наук: «Вот, мол, смотрите, и естественные науки этому не противоречат». А что помимо этих фактиков еще говорят науки или здравый разум, о том умалчивают. Нет, у него совсем не то. Говоря со мной, например, он даже и не заикнулся о христианстве. Все про медиков да про медицину, а вышло как-то так, что без христианства людей лечить — все равно, что воду в решето лить...

— Владыка знаток медицины?

— Этого нельзя сказать. Практических знаний у него мало, но он раскрывает, так сказать, философию этой науки... Нет, в самом деле, — доктор досадливо швырнул окурок папиросы, — что дает человечеству наша работа? Лечим, лечим людей, а люди, в общем, становятся все хилее и хилее. Владыка вот предлагает медицине переродить людей, вернуть, например, идиоту разум и сделать его человеком. Хотел было сказать ему, что этого ведь ни он, да и вообще никто пока не может сделать, но задумался... Как хотите, а это Новодуховское, этот босяцкий поселок, невольно заставляет относиться с доверием к его словам. Слово, подтвержденное делом, — могучая сила. Я всегда скептически относился к подобного рода затеям, в особенности после неудавшегося опыта толстовских колоний, в которых и сам принимал одно время горячее участие. Ну, а тут дело говорит само за себя. Я не узнаю прежних ночлежников... Вы знаете, что такое ночлежник? Легче гору сдвинуть, чем заставить ночлежника на один вершок двинуться вперед по пути

нравственного совершенствования, выражаясь богословским языком. А он двинул... Если из ночлежника сделал гражданина, то поневоле начнешь верить, что и человека можно превратить в какое-то высшее существо... Тут есть над чем задуматься.

— Понимаю теперь, друже, почему это у вас появился интерес к миссионерским беседам.

— Ничего вы не понимаете. Миссионерские беседы тут ни при чем. Не словопрения же ваши иду я слушать... Узнал случайно, что на этом собеседовании будет владыка. Ну и взял меня интерес послушать, что он будет говорить нашим старообрядцам. Не про сугубую же аллилуйю будет спорить с ними...

— Да... но «философию медицины» раскрывать перед ними тоже бесполезно, потому что для старообрядца «сугубая аллилуйя» поважнее ваших наук...

— Ну, это на словах только так, а на деле и старообрядец, как заболит у него живот, бежит сломя голову к доктору, забыв про аллилуйю или спрятав ее на закуску миссионеру.

— Направо держите, доктор, зал для собеседований на этой улице...

* * *

— Смотрите же, не ударьте лицом в грязь, — говорил профессор, обращаясь к молодому миссионеру, которому предстояло выступить на беседу, имея в резерве своего наставника, — главное — не волнуйтесь. Полнейшее самообладание и спокойствие. В случае чего, ведь я вас выручу...

— Я не потому, Павел Иванович! В своих познаниях я уверен. Но все-таки невольно приходишь в смущение, когда чувствуешь, что на тебя смотрит толпа.

— Это пустяк. Это пройдет, как только заговорите. Книги все у вас? Большой, Малый катехизис, Кормчая...

— Здесь, здесь, Павел Иванович! Все захватил. Выступим, так сказать, во всеоружии. Кроме того, его преосвященство тоже, по всей вероятности, примет участие в прениях.

— Ну, на владыку-то много надежи не возлагайте. Он ведь не специалист по расколу. Что касается лично меня, то я предпочел бы на вашем месте вести беседу в отсутствие архиереев. Народ они, большею частью, малосведущий по этой части, а соваться любят. Иной сболтнет что-нибудь, не подумав, а миссионер потом отдувайся: и истину защищай, и владыку выгораживай, как вот все равно с этими несчастными соборными клятвами. Самый трудный пункт миссионерской защиты. А между тем давно бы надо было попросту сказать: «Сглупили, мол, святые-то отцы, поторопились наложить клятвы, не разобрав как следует дела»... Нет уж... ведите беседу сами и даже постарайтесь не дать возможности владыке вмешаться. Так-то будет понадежнее... Да, а публики сегодня много; собеседование обещает быть торжественным, — продолжал профессор, окидывая зал довольным взглядом.

Народу, действительно, было много. Обширный зал был уже полон. Несмотря на это, публика продолжала прибывать.

Среди народа, наполнявшего зал, обращала на себя внимание кучка людей, занявшая обширный угол залы. Все они одеты были в одинаковый костюм: широкая косоворотка,

подпоясанная ремнем, широкие шаровары, опущенные в сапоги, поверх рубахи — поддевка из самодельного сукна. Держались они спокойно, с сознанием своего достоинства.

Это были новодуховцы.

Впереди новодуховцев сидели отец Герасим и отец Павел. На них были рясы из того же сукна, что и на поддевках.

Отец Павел, как живой и подвижный человек, видимо, тяготился ожиданием беседы. Он то и дело вставал, подходил к кому-то из своих прихожан и завязывал разговор.

Отец Герасим сидел спокойно и молчаливо. Следы прежней страдальческой жизни не все еще исчезли с его лица. Время от времени морщины набегали на лоб. Глаза по-прежнему смотрели из-под нависших бровей, но это были уже не прежние усталые, измученные, страдальческие, потускневшие очи. Это были светлые, лучистые, зорко устремлявшиеся в даль, «прозревающие» глаза. Ровно и спокойно смотрели они перед собой, и взгляд их светился несокрушимой энергией. Железная воля отражалась и в фигуре отца Герасима. От прежней «согбенности» не осталось и следа. Горбившаяся спина выпрямилась, впалая грудь поднялась. Жилистые руки, красиво сложенные на груди, говорили о физической силе. Несмотря на поседевшие волосы, отец Герасим выглядел молодым, полным здоровья и сил человеком. Молодая фигура и поседевшие волосы составляли странный контраст, невольно останавливавший взгляд на этом человеке. Из приходившей в зал публики многие, увидев отца Герасима, отвешивали ему почтительные поклоны.

В зале стоял гул голосов. Но вот послышалось пение молитвы, и все смолкло.

— А что же, архиерея-то разве не будут ждать? — спросил вполголоса какой-то господин своего соседа.

— Архиерей здесь уже. Вон он...

Незаметно прошедший через толпу владыка стоял впереди, около эстрады, на которой стояла кафедра. Лицо его было обращено к иконе. По пропетии молитвы он опустился в кресло, стоящее в первом ряду стульев.

Водворилась тишина.

На кафедре показался миссионер.

Беседа предлагалась на заранее объявленную тему — о неканоничности австрийской иерархии.

Сказав несколько предварительных слов о необходимости в деле спасения благодатной иерархии, миссионер прямо приступил к теме. Историческими справками, бесчисленными текстами из древних книг, строго логично сделанными выводами мастерски раскрывал он тему беседы. Ясная и спокойная речь располагала слушателей в пользу миссионера. Доводы его казались неотразимыми. Это чувствовал сам миссионер. В голосе его стали прорываться торжествующие нотки.

Из вывода, сделанного миссионером в конце своей речи, следовало, что австрийская иерархия не канонична, и, как таковая, безблагодатна, а стало быть, все, принимавшие ее,

погибли, а продолжающие принимать, неизбежно погибнут, если не обратятся к православной церкви.

Вывод показался старообрядцам обидным, так как миссионер заживо всех их записывал кандидатами в ад. Обидно становилось и оттого, что православные, восхищенные блестящей речью миссионера, стали бросать в их сторону полунасмешливые взгляды. Со стороны старообрядцев поднялись возражатели. Начался диспут.

Обычно скромные старообрядцы на сей раз держали себя слишком развязно, высоко подняв головы, и даже вызывающе. Объяснялось это отчасти понятным желанием не унижить себя в глазах многочисленной публики, — отчасти же появлением Высочайшего Манифеста о веротерпимости, который многими из старообрядцев был понят в том смысле, что теперь с миссионером говори, что хочешь, и ругай его, как можешь, — за это ничего не будет.

Первому натиску возражателей миссионер дал удачный отпор и остановился, ожидая новых возражений. Желающих возражать поднялось еще больше. Диспут разгорался. За архиерея миссионеру не пришлось беспокоиться. Владыка сидел, молчаливо слушал споривших и, казалось, не обнаруживал никакого желания говорить.

Публика слушала диспут с интересом. Из толпы раздавались то одобрительные, то отрицательные возгласы по адресу той или другой из споривших сторон. Порой подымался благодаря этому шум, так что приходилось призывать к тишине.

Значительно уступая миссионеру в знании церковной истории и догматов веры, старообрядцы брали верх над ним остроумием и разными колкими выходками по адресу защитников православия. Особенно отличался в этом отношении известный среди старообрядцев Афанасий Митрич. Его колкие замечания почти каждый раз вызывали в толпе смех.

Афанасий Митрич, видимо, был в ударе. По всей вероятности, стечение многочисленной публики и присутствие на собеседовании православного архиерея действовали на него возбуждающим образом.

Афанасий Митрич старался доказать, что безблагодатна не их иерархия, а православная; что в православной церкви давно уже действует антихрист, а потому и все находящиеся в ней — слуги антихриста, по которым давно уже соскучилось адское пекло. Никто из них не спасется. Только державшимся древнего благочестия будут отверзены двери рая.

Говорил Афанасий Митрич плавно и складно. Речь его, пересыпанная шуточками и колкостями по адресу миссионера, производила на толпу впечатление. Но Афанасию Митричу, видимо, этого показалось мало. Поощряемый одобрительными кивками и взглядами своих сторонников, Афанасий Митрич захотел проявить себя во всем блеске и нанести своим противникам решительный удар. Порешив, что миссионер для его насмешек слабая мишень, он стал направлять стрелы своего остроумия сначала по адресу вообще православных епископов, а потом и прямо уже к присутствовавшему на беседе архиерею.

Старообрядцы поощрительно улыбались. Православные стали возмущаться. В зале запахло скандалом. И скандал начался. Не в меру разошедшийся Афанасий Митрич, в пылу своего воодушевления, ткнул вдруг пальцем по направлению к владыке и обратился к публике с громкими словами:

— Вот он... антихрист—то... Идите за ним. Он поведет вас по «истинному пути», прямо к сатане в гости...

Даже старообрядцы смутились от этой выходки своего защитника. Сидевшие поблизости схватили Афанасия Митрича за фалды и усадили на стул. Миссионер, не догадавшийся вовремя остановить своего зарвавшегося оппонента, смутился от такой неожиданности и смущенно молчал.

В зале наступила неловкая тишина. Взоры всех тревожно уставились на архиерея.

Глава семнадцатая

Оскорбительно дерзкая выходка Афанасия Митрича на владыку, казалось, не произвела никакого впечатления. Медленно поднялся он с кресла, взял в руки посох и ровной, величественной походкой взошел на кафедру. Слушатели затаили дыхание.

— Возлюбленные братие, — начал спокойно владыка, обращаясь ко всем, находящимся в зале, — шли два столяра по улице и спорили между собой о том, кто из них лучший мастер. Один говорил, что он лучше всех, потому что только у него одного есть действительное знание ремесла, а все прочие столяры никуда не годятся. Другой назвал своего товарища обманщиком, доказывал, что он ничего не знает, и хвалил себя. Спор шел без конца... Как вам думается, братии, чем бы можно положить конец их спору и решить вопрос, кто из них, в самом деле, настоящий мастер? По—моему, надо предложить и тому и другому сделать какую—нибудь вещь, а там уж само дело покажет, кто из них лучший мастер, а может быть, и оба окажутся одинаково хорошими.

Не похожи ли и мы, братии, на этих спорщиков? Доказываем мы друг другу, у кого из нас находится иерархия, действительно обладающая божественной благодатью, этой небесной силой, возрождающей и спасающей людей; сразу спорим о том, кто из нас действительно спасется, а спор наш приводит нас только ко взаимному раздражению и к оскорблениям.

Спасение людей — великое дело. Христианство тем и отличается от прочих религий, что ставит своей целью спасение, возрождение людей. Христос называется Спасителем. Но понимаем ли мы, от чего именно спасает нас христианство?

Я понимаю, когда во время пожара мне кричат: «Спасайся!» Это значит, что если я сейчас же не вскочу и не убегу, то огонь доберется до меня, и я сгорю, погибну. Тут нет места и времени для рассуждений, а христианство вот уже девятнадцать веков говорит человечеству: «Спасайся» — последнее, однако, и не думает двигаться с места. Равнодушно выслушивает все призывы ко спасению и благодушно рассуждает, размышляет, спорит о том, что такое спасение, и так далее. На окрик — спасайтесь! — вовсе никто не думает вскочить, убежать, спастись... Отчего это?

Дело ясно: оттого, что никто, значит, не знает об опасности, от которой нужно бежать, спастись; а если кто и говорит, что он знает, но сам не бежит, стоит на месте, то это значит, что опасность, по его мнению, не настолько велика, чтобы от нее нужно было бежать. Не так ли?

В действительности оно так и есть. Хотя мы и знаем, что христианство, говоря словами Священного Писания, спасает нас от греха, проклятия и смерти, но, во—первых, знаем ли мы, что такое грех? Если бы знали, то не рассуждали бы о нем благодушно. Когда человек

ранен, он не благодушествует, не рассуждает, спешит избавиться от тех неприятных, болезненных ощущений, которые причиняет ему рана.

От грехов никто не стонет, не кричит, не спешит от них избавиться. О грехах только «сокрушаются», «воздыхают», «каются» и снова творят грех. Что это значит? Это значит, что по понятию людей, грех есть «запрещенный плод», который, однако, сам по себе имеет тайную прелесть, соблазняет человека, доставляет ему удовольствие, а порой и жгучее наслаждение...

Тот, кто еще признает Бога, творя грех, чувствует укоры совести, происходящие от сознания того, что он нарушил волю Божию, потому что Бог запрещает творить грех. А тот, кому безразлично, есть Бог или нет Его, — тот творит грех, не чувствуя укоров совести. У первого слишком слабое побуждение бежать, спастись от греха; у второго совсем нет никакой причины лишать себя тех удовольствий, которые доставляет грех. Таким образом, и тот, и другой продолжают творить грех. И грех продолжает царствовать в мире, а призыв христианства к спасению от греха остается пустым звуком...

Знаем ли мы, что такое проклятие Божие, от которого спасает нас христианство?

Под проклятием Божиим мы обычно разумеем наказания за грех, из которых самое страшное — заключение грешников в ад.

Да, действительно, если бы за каждым грешным поступком тут же следовало и наказание, то, конечно, ни у кого не было бы охоты грешить. Сказано, например: «Чти отца твоего и мать твою...» Если бы у того, кто нагло обругал мать, тут же отнялся язык, то он в другой раз и в мыслях не допустил бы нарушения Божией заповеди.

В действительности этого нет.

Сквернословы у нас благополучно продолжают владеть языками. Отлично чувствуют себя и те, кто вместо того, чтобы идти под воскресенье в церковь, идут в театр, маскарад или даже в публичный дом. Не отличаются ничем друг от друга и те, кто ест скоромное. Даже иногда, наоборот, кто понаглее, кто беззастенчиво посягает и на чужие деньги, и на чужих жен, тот и живет лучше, а люди бескорыстные, честные живут хуже и чувствуют себя всегда скверно, потому что страдают от нравственных мук.

Богословию известно это несоответствие между грехами людей и наказанием. Разрешает оно это противоречие учением о загробной жизни. Оно говорит, что грешники обязательно будут наказаны, а праведники награждены, но только на том свете, в будущей жизни.

Но люди живут настоящей жизнью, а не будущей. Будущая жизнь у многих, во-первых, под сомнением, а во-вторых, даже у тех, кто говорит, что он верует в будущую жизнь, понятие о ней слишком скудное, а потому и сами верующие в действительности предпочитают блаженству на небесах счастливую или просто удобную жизнь на земле.

Таким образом, наказаний Божиих никто не боится. А относительно ада, хотя на словах чувствуют пред ним страх, но на деле никто и не думает спастись от него...

Христианство, говорим мы далее, спасает нас от смерти. В существовании смерти никто не сомневается. Смерти все боятся и хотят избавиться от нее. Даже самоубийцы не пожелали бы смерти, если бы кто-нибудь избавил их от страданий и сделал их жизнь

сносной. Но в том-то и дело, что христиане все-таки умирают, и не было еще примера, чтобы из них кто-нибудь не умер.

Богословие разъясняет это противоречие между христианским учением об уничтожении смерти в людях и фактами действительности. Оно говорит, что христианское учение относится к будущему. Христиане, хотя и умрут, но воскреснут в будущем и тогда уже больше не будут умирать. Опять не известное никому будущее, в которое нужно верить, но в действительности мало кто верит. Опять возможность равнодушного отношения к христианству, потому что хотя люди и желают спастись от смерти, но в действительности не видят примера спасения от нее. Что же касается будущего избавления от смерти, то тут опять представляется широкий простор для всякого рода споров, без всякой надежды придти когда-нибудь к окончательному решению.

Рассматривая нашу обыденную жизнь, мы видим, что в ней к одному можно относиться безразлично, то есть можно его делать, можно и не делать, к другому нельзя, то есть это другое приходится делать обязательно. Так, можно, например, пойти или не пойти в театр, следовать или не следовать моде, соблюдать или нарушать правила приличия и так далее. Но нельзя, например, нарушить при ходьбе закон равновесия, в противном случае придется упасть и расшибиться. К тому, что установлено человеком, можно относиться безразлично, но к тому, что установлено помимо воли человечества, то есть Богом, относиться безразлично нельзя. Если человек исполняет последнее — получает пользу, а если нарушает — ущерб. Значит, если человек терпит ущерб, страдает, то причина лежит в нарушении какого-либо закона. Так, если человек упал и расшибся, то это значит, что он нарушил закон равновесия.

Мы все страдаем и мучаемся. Жизнь для всех стала невыносимой. Это оттого, что нарушаем христианство. Но разобраться в причинах наших несчастий не можем, благодаря неправильным понятиям о грехе, о наказаниях, об аде, о смерти. Люди понимают грех как нечто соблазнительное, хотя и преступное.

А я говорю вам: грех это — те недостатки, изъяны в человеке и в его жизни, которые может видеть каждый из нас.

Грех — это лысая или плешивая голова, гнилые зубы, трясущиеся руки, потливые ноги, бледное худое осунувшееся лицо, или, наоборот, ожиревшее, впалая грудь, синева под глазами, испорченное зрение, тупой слух, гнусавый, шепелявый или картавый язык, испорченное пищеварение, большой живот, расстроенная половая система, неправильное кровообращение и так далее.

Грех — это слабая память, тупой ум, извращенный вкус, плохая трудоспособность, отсутствие инициативы, слабосилие и всякая фальшивость везде и во всем.

Грех — это вялая неуклюжая походка, бессвязная речь, сиплый голос, бессмысленный взгляд, глупая улыбка, сонливый вид, отвратительные манеры, неприятный, безобразный вид, уродливое телосложение и тому подобное.

Грех — это хамство, мещанство, это — та заедающая человека среда, которая принимает его, обезличивает, губит в нем лучшие его стороны.

Грех — это всякая ненормальность, неправильность в ходе жизни человека, всякая остановка в его развитии, это дисгармония в человеческой природе, все то, что ведет

человека к медленному умиранию, к маразму, к умственному, нравственному и физическому вырождению.

Грех, далее, — это насморк, кашель, лихорадка, геморрой, чахотка, холера, дифтерит, одним словом, всякая болезнь, подтачивающая здоровье человека.

А так как нет на свете человека абсолютно здорового, совершенного, поэтому и говорится, что все мы грешны перед Богом.

Вот что такое грех с точки зрения истинного понимания христианства.

Этот грех у всех перед глазами, и всякий имеет возможность разобраться в том, кто, как и чем грешен. Тут нет места никакому фарисейству и ханжеству. Этот грех всеми признается и сознается. Никто не вздумает соблазняться и прельщаться им. Наоборот, все ищут от него спасения, и только немногие догадываются, что от этого—то именно греха и спасает людей христианство.

Неправильно смотрим мы и на Божий наказания. На Божий суд мы смотрим со своей обыденной точки зрения, то есть как на человеческое судопроизводство, оканчивающееся или оправданием виновного, или осуждением его с изложением наказания. Забываем мы, что Божий суд состоит в том, что свет пришел в мир. Упускаем из виду, что Бог есть неизреченное милосердие и бесконечная любовь. Бог никого не наказывает. И тем не менее... наказания существуют и притом именно здесь, на земле...

«Наказания Божий» — это те роковые последствия, которыми неизбежно сопровождается нарушение всякого установленного Богом закона; это те физические и нравственные страдания, которые причиняет человеку грех, это все то, что делает жизнь человека несчастливой, тяжелой и невыносимой.

«Ад» — это наша нынешняя жизнь с ее всевозможными лишениями, мучениями, страданиями, с ее тоской, слезами, скорбями и горестями.

Ад — это общественная жизнь, в которой задыхаются люди; это — наша семейная жизнь, с которой только отчасти приподнял завесу Л. Н. Толстой в своей «Крейцеровой сонате».

Ад — это безыдейная служба, бессмысленное знание, бесплодный труд, все то, что свободных разумных людей превращает в жалких «человечков в футляре».

Ад — это неимение куска насущного хлеба, вынужденная нищета, голод телесный и духовный.

Ад — это дряхлая, безотрадная, беспомощная, безобразная старость, уничтожающая в человеке ум и волю, притупляющая чувство, приводящая его ко второму детству.

Ад — это истощенная, не производящая никакой растительности земля; это — кишацие болезнетворными микробами источники, зараженные местности, гнилые болота, зловонные ямы, нездоровый климат, вредные испарения и так далее.

Мы все уже в аду. Прислушайтесь к жизни людей, и вы услышите кругом плач, стоны и скрежет зубов. Найдите хоть одного здорового, жизнерадостного, цветущего счастьем человека, который от колыбели и до гроба не испытал бы и тени неудовольствия.

Мы много найдем людей сытых, довольных собой и, по-видимому, счастливых. Не верьте их счастью. Это захлороформированные или загипнотизированные. Как лежащие под хлороформом не чувствуют боли, не видят ни прочих больных, ни занесенного над ними ножа хирурга, так и эти люди муки ада отстраняют от себя удобствами жизни и думают, что они счастливы, но первая же неудача, первая серьезная болезнь или незаметно подкрадывающаяся дряхлая старость разбивают их иллюзорное счастье, и они начинают страдать, не подозревая, что попали в ад.

От этого—то «ада», в котором сидят уже все одинаково — и верующие, и неверующие в него, — от этого именно ада и спасает людей христианство.

Много путаницы в наше понимание христианства внесло понятие о смерти. Оно именно поселило в человечестве равнодушие к христианству. «Христос Воскресе из мертвых, смертью смерть поправ...» «Смерти празднуем умерщвление...» Таковы слова победных песен христиан, а смерть, как бы смеясь над ними, косит и косит людей, и слыша ее адский хохот, затихают победные христианские клики. В настоящее время эти песни, за смысл которых люди шли раньше на костры, поются устами наемных людей, а христиане только слушают и восхищаются не смыслом их слов, а мелодией...

Люди думают, что на свете существует одна только смерть, одинаковая для всех. На самом деле в мире две смерти, или точнее, два вида смерти: смерть естественная, которой должны были бы умирать люди, и смерть неестественная, которой в действительности умирают почти все люди.

Та смерть, которую мы видим почти ежедневно, — смерть, начинающаяся болезнями, кладущими человека на смертный одр, и сопровождающаяся предсмертной агонией; смерть мучительная, наводящая на человека страх и ужас, лишаящая его самосознания и заставляющая бояться и трепетать приближения смертного часа; смерть, превращающая тело человека в зло-смердящий труп, это — смерть неестественная, ненормальная, неправильная, уродливая, такая, которой не должно было бы быть в мире. На нее ошибочно смотрят как на всеобщий закон природы, закон необходимого разложения составных частей на элементы. Или — переход от одной формы бытия к другой, от жизни с грубым материальным телом к жизни без тела. Переход этот совершенно безболезнен, не предваряется никакой агонией. Человек все время сохраняет полное самосознание. Ясно чувствует, что конец его приближается, но ждет он этого конца не только без страха, с полным спокойствием, но даже с радостью; испытывает чувство, похожее на ту истому, которая наступает после трудового дня, когда начинает сильно клонить ко сну... Разложение тела после такой смерти совсем не такое, какое бывает при смерти неестественной. Там гниение, сопровождающееся известным трупным запахом. Труп в короткий срок превращается в зловонную массу, кишашую червями. Тут эти явления отсутствуют. На теле не появляется трупных пятен. Тяжелого запаха нет, наоборот, иногда сильно слышится ароматный дух. Самый процесс разложения затягивается иногда на сотни лет.

Неестественную смерть человека можно уподобить несозревшему зерну. Оно присыхает к скорлупе, которую приходится отдирать с трудом. Если бы зерно одарено было человеческой способностью чувствования, то оно испытывало бы те же муки, которые переживает человек в минуты отделения души от тела при неестественной смерти.

Смерть естественная похожа на вышелушивание вполне созревшего зерна, которое беспрепятственно отделяется от скорлупы и само спешит упасть в землю.

Христос поправил смерть неестественную, как причину всех мук человека в дальнейшей его жизни. Христианство зовет людей спастись от этой неестественной смерти, действительно спасает, дает им возможность достигать смерти естественной, то есть свободного и радостного перехода к другой форме бытия, к иной жизни.

И от греха, и от проклятия, и от смерти люди спасаются силой Господа нашего Иисуса Христа. Мы веруем, что этой силой облечена иерархия, и спорим только о том, какая иерархия, старообрядческая или православная. Спорим без конца, без результата. Не сегодня и не вчера начался этот спор. Решим же этот вопрос так, как разрешили спор тех столыаров, о которых я упомянул вначале. Теперь мы знаем, от чего спасает людей христианство. Идите же и спасайте людей. Сможете это сделать, значит, и у вас есть сила Божия, и ваша иерархия благодатна. А тогда нам остается только подать друг другу руки, чтобы дружной взяться за совместную работу, за великое дело возрождения и обновления людей. Если не сможете и увидите спасающихся у нас, не упорствуйте: идите к нам... А миссионерские беседы, как не достигающие цели и только развивающие страсть пустого словопрения, я с нынешнего же дня закрываю...

* * *

В каждом языке есть много слов, означающих предметы, которые существовали когда-то, но теперь исчезли, вышли из обихода повседневной жизни. Люди не выбрасывают этих слов из лексикона, сохраняют их как наследство от предшествовавших поколений. Не видя предмета, который обозначало когда-то это, утратившее теперь свой смысл, слово, люди составляют на основании тех или иных данных предположительный образ того предмета, и смотря по тому, как воспроизведен предмет, толкуют слово так или иначе. Но вот, роясь в пыли археологических раскопок, человек находит самый предмет. С недоумением смотрит он на него и невольно восклицает: «Так вот это и есть то самое... а я думал...» И странным кажется человеку, какое, в самом деле, имел он право так думать...

В таком именно недоумении сидели слушатели миссионерской беседы. Владыка давно уже кончил свою речь и сошел с кафедры, а в зале продолжала царить тишина. Никто не пошевелился. У всех в голове мелькала одна и та же мысль: «Так вот это и есть то самое... а мы думали...» И все думавшие, вслед за поставленным многоточием, спешили разобраться в своих думах и невольно спрашивали себя, какое в самом деле у них было основание думать не так, а иначе.

Не думали только бывшие ночлежники. Что других приводило в недоумение, то для них было ясно, как Божий день. Владыка кратко сказал то, что пространно толковали им годами. Владыка звал людей на путь, на который они, ночлежники, давно уже вышли. Они спаслись уже из ада, и хотя грех еще не совсем был уничтожен в них, но видели они уже, что пала власть его, слабеет тьма, все видно впереди. Радость наполняет их сердца. И захотелось им поведать свою радость всем.

Отец Герасим и отец Павел почувствовали настроение своих пасомых и встали со своих мест. Пасомые окружили своих пастырей. И стало у них одно сердце и одна душа. И заволновало эту душу одно могучее чувство. Как река в половодье вышло оно из берегов, пробилось наружу и морем стройных, величественных звуков разлилось по залу.

«Прежде сень законная, благодати пришедши...» — пели новодуховцы старинным напевом церковный догматик. Крепли их голоса, слышней становилось пение, и в такт

этого пения выше и выше вздымались их груди, загорались блеском глаза, просветлялись лица.

С удивлением смотрела публика на этих людей, которые так твердо и уверенно пели о пришедшей благодати, и чувствовала она, что благодать действительно пришла к ним... А в голове у каждого носилась все та же недоуменная мысль: «Так вот это и есть то самое...» А звуки лились и ширились, наполняли зал, вырывались через окна наружу и смело вступали в бой с беспокойным шумом крикливых голосов, дерзко подымавшихся с торговой улицы. Прохожие останавливались, слышав пение, и с любопытством вслушивались в эту песнь возрождавшихся людей; и слышалось им в этой песне что-то знакомое, близкое сердцу. Душу охватывала неясная тоска о чем-то давно забытом, утерянном...

* * *

— Как же так? Владыка закрывает беседы? — смущенно спрашивал миссионер своего наставника, отыскав его среди расходившейся из зала публики.

— Владыка зарпортовался... — сердито и недовольным тоном проговорил профессор, — это с его стороны превышение власти. На это есть и Святейший Синод.

Глава восемнадцатая

Город спал предутренним сном. Ночную тьму начинал уже разгонять слабый свет приближавшегося утра. Электричество на улицах давно уже было погашено, а в окнах крайней комнаты архиерейского дома все еще продолжал гореть огонек. Это был кабинет владыки.

Весь день на людях, владыка ночью только, когда все уже кругом засыпало, имел возможность, урывая от сна время, посвящать несколько часов самоуглублению. Тут он подводил итог пережитому дню, собирал свои устремляющиеся днем во все стороны мысли и делал им строгую проверку. Тут же спешил он пересматривать накопившуюся за день частную переписку. Не всегда эти часы проходили для владыки в душевном спокойствии. Прошли уже годы его архипастырского служения в новой епархии. Много добра успел он уже сделать, и много из посеянного дало уже всходы... Но не дремала и злоба. Увидев в лице владыки опасного себе врага, она ополчилась и стала бить его комками грязи...

Один из таких комков в виде большого мелко испещренного листа бумаги валялся и сейчас перед владыкой на письменном столе. Возле лежало письмо, в котором было написано: «Ваше Преосвященство! К глубокому своему огорчению, случайно узнал о готовящейся Вам неприятности. Злоба не дремлет... Донос послан на Вас в Синод. Случайно попавший в мои руки черновик доноса спешу препроводить к Вам, чтобы Вы имели возможность быть готовым к ответу, на всякий случай... Ваш доброжелатель».

Желчный лист уже несколько раз был прочитан владыкой. Видно было, что боль щемила ему сердце, но лицо его оставалось спокойным. Владыка сидел глубоко задумавшись.

В доносе подробно описывались в извращенном виде все поступки владыки. Говорилось о притеснении духовенства, о морально разлагающем действии его речей. Искаженно передавались мысли владыки, его взгляд на христианство. В заключение автор доноса

просил Святейший Синод избавить епархию от волка, пришедшего в овечьей шкуре. Под доносом стояла подпись: «Ревнитель православия».

— Да, — думал владыка, — странно было бы, если бы молчала злоба... Отец лжи еще не связан окончательно, и пока он на свободе, сыны истины будут гонимы. Об этом предупреждал нас наш Учитель... Гонения не страшат меня. Никогда не устрашали они и всех борцов за евангельскую истину, пока... враг стоял перед ними в его собственном виде. Трудно бороться с дьяволом, когда он принимает вид ангела света... Смущаются некоторые борцы за православие, когда видят и на знамени врага своего надпись: «Православие», затихают их голоса, слагают они оружие и прекращают бой...

Но мы имеем возможность разобраться в этом. Дело Христа — дело спасения и возрождения людей. И если видишь ты, борец за истину, что вокруг тебя действительно возрождаются люди, совершенствуются, оздоравливаются и телесно, и духовно, становятся лучшими, — знай, что ты стоишь в истине и тогда смело борись со своим врагом, хотя бы он противостоял тебе со многими знаменами и чудесами.

А борьба должна вестись постоянно. Дух земли постоянно тянет человека книзу. Земля была колыбелью человека, но для возмужавшего человечества она стала удобной постелью, на которую оно взглядывает порой, чтобы воспользоваться ею не для оздоравливающего сна, а для безмятежного опочивания. И спят многие на ней, расположившись поудобней. Спят с ночи до утра и с утра до ночи. Постоянно приходится будить и не надо смущаться, что кто-либо спросонья отмахнется кулаком или от неожиданного толчка издаст зловоние...

Истинная Христова Церковь должна вечно будить людей. Не было еще на земле, да и не будет такой формы общественной жизни, про которую она могла бы сказать: «Вот это — Царствие Божие, а потому: остановитесь, люди, в своем шествии вперед...» Пастыри и архипастыри должны, поэтому, постоянно пробуждать человечество.

И горе той земле, в которой замолкли их вечно протестующие голоса!

КОНЕЦ